

## ДЕКАБРИСТ БЕЗ ДЕКАБРЯ

Вопрос об отношении одного из крупнейших представителей русской литературы и общественности первой половины XIX столетия — П. А. Вяземского — к декабристам не был еще предметом специального изучения. Нет ни одной работы на эту тему. В обширной «Библиографии» декабристов, составленной Н. М. Ченцовым, многочисленные высказывания Вяземского о декабристах не сведены в особый отдел, подобно имеющимся отделам, посвященным отношениям Пушкина и Грибоедова к декабристам, и большинство из высказываний, нередко важнейших, не зарегистрировано вовсе.

Предлагаемая работа, написанная на основании всех высказываний Вяземского о декабристах и впервые опубликовываемых, вырезанных цензурой, страниц IX тома его сочинений, стремится дать очерк отношений Вяземского к декабристам и декабризму, выяснить степень близости его к тайному обществу и познакомиться с его, обвинительной для Николая I, критикой следственного дела, процесса и казни декабристов.

### 1

В конце 1810-х гг. кн. П. А. Вяземский был из числа тех, кого звали тогда «либералистами». Он служил в Варшаве, при полномочном делегате при правительствующем Совете Царства Польского<sup>1</sup>, Н. Н. Новосильцове, приглашенный на службу им самим. Польша же была тогда небольшим опытным полем, которое «либералист» Александр I отделил от необозримых крепостных равнин своего самодержавно-российского поместья для производства опытов правительственного либерализма. В 1818 году Александр открыл первый польский сейм тронной речью, которую он произнес как конституционный монарх Польши, но которая

---

<sup>1</sup> Манифестом 25/13 мая 1815 г. Александр I провозгласил основание Царства Польского. Конституционная хартия была им подписана 27/15 ноября того же года.

явно была рассчитана на то, чтобы ее поняли, как декларацию будущего конституционного правителя России. Объявляя, что «законно-свободные учреждения (institutions liberales)», вводимые в Польше, были «непрестанно предметом его помышлений», он заявлял, что «спасительное влияние» их он «надеется» в будущем «распространить и на все страны, провидением» ему «вверенные». Польша — лишь первый участок, по своей исторической почве более подготовленный к конституционным опытам, чем дикие целины всего имения: Польша «дает средство явить его отечеству то, что он уже с давних лет ему приготавливает и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут настоящей зрелости»<sup>1</sup>.

Вяземский дважды — в 1829 г. и в 1876 — 77 гг. — рассказывал в своем участии в этих конституционных опытах — и «Моя исповедь», 1829 г., написанная в трудных для Вяземского политических обстоятельствах<sup>2</sup>, почти ничем не различается от «Автобиографического введения» в «Собрание сочинений», написанного почти через полвека: прямое свидетельство, что у Вяземского было одно на всю жизнь мнение об участии его в польских предприятиях Александра I: он дорожил этим участием. Поэт и «либералист», он тем охотнее участвовал в них, что они вполне соответствовали его тогдашним убеждениям: конституционалист и сторонник конституционной Польши, он верил тогда, что зачинатель либеральных опытов тоже и конституционалист, и друг «законно-свободной Польши». Раздел Польши Вяземский всегда считал политической ошибкой и признавал, — по разным мотивам: то с точки зрения интересов Польши, то с точки зрения выгоды самой России, — необходимость автономии или даже полного отделения Польши. Убеждение это Вяземский продолжал высказывать даже во дни польской революции. «Раздел Польши есть первородный грех, — заносил он в 1830 году в записную книжку. — Нельзя избежать роковых следствий пре-

<sup>1</sup> Речь, вскоре по произнесении (27/15 марта 1818 г.), дважды была напечатана по-русски — в «Северной Почте», № 26, и в «Санктпетербургских Ведомостях», № 26.

<sup>2</sup> Об этих «трудных» для Вяземского обстоятельствах 1828—29 гг. см. в конце нашей работы. Здесь довольно указать, что «Моя исповедь» (писана в конце 1828 г., отделана в январе 1829 г.) ставила своей задачей нарисовать автопортрет человека, писателя и общественного деятеля Вяземского. 9 февраля 1829 г. «Исповедь» через Жуковского была послана Бенкендорфу. Одновременно и через него же Вяземский послал письмо к самому Николаю I, прося его внимания к этой «Исповеди» и взывая к его «правосудию». Знакомство Николая I с «Исповедью» несомненно, читал ли он ее целиком или в извлечениях и конспекте, представленных Бенкендорфом. «Исповедь» была переслана Николаем I в Варшаву цесаревичу Константину, который прочел ее целиком

ступления»<sup>1</sup>. Польская революция — законное следствие преступления, совершенного Екатериной II. «Есть одно средство» решить польский вопрос — «бросить Царство Польское»: «пусть Польша сама выбирает себе род жизни». Противопольские стихи Пушкина и Жуковского — «шинельные», по отзыву Вяземского — вызвали его резкое осуждение: «Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича». Правда, в эту же эпоху Вяземский готов был, иной раз, сравнить желаемую им независимость Польши от России с «отпускной негодяю, которого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекрута», но в необходимости самой «отпускной» он никогда не сомневался. Только в 10-х годах независимость Польши представлялась молодому либералисту «отпускной», которую насильник-помещик обязан дать просвещенному человеку свободного состояния, бессовестно обращенному в рабство.

Это убеждение раскрывало перед Вяземским двери польского общества. Он был близок к Немцевичем, Моравским и другими польскими деятелями. Мицкевич был его другом. Но это же убеждение, по мнению Вяземского, не изымало его и из круга убеждений и действий, позволительных и даже одобрительных для чиновника русского правительства. Убеждения либералиста-поэта и либералиста-императора, повидимому, совпадали: Александр I считал польскую политику Екатерины II печальной ошибкой, а создавая, вопреки настояниям Меттерниха и Талейрана, Царство Польское, предусматривал в «Главном акте» Венского конгресса — «даровать этому государству» возможность «внутреннего распространения, какое он найдет удобным». Это было подтверждением давнего обещания кн. Адаму Чарторижскому: «Под восстановлением Польши я имею в виду соединение всех бывших частей Польши, включая и области, отошедшие к России, кроме Белоруссии, так, чтобы границами Польши являлись Двина, Березина и Днепр»<sup>2</sup>. Вряд ли в своих польских сочувствиях либералист-поэт шел тогда дальше либералиста-императора.

Первой же крупной работой, порученной Новосильцовым Вяземскому, был перевод конституционной сеймовой речи Александра I. Смысл и назначение перевода были неоспоримы в глазах Вяземского: русскому обществу, по воле Александра I, представлялась возможность сочувствовать конституционным планам императора. С переводом спешили, — это значило: спешили

<sup>1</sup> «Старая записная книжка». Полн. собрание сочинений П. А. Вяземского, т. IX. СПб., 1884, стр. 15, и далее, стр. 156, 157, 158.

<sup>2</sup> Письмо Александра I от 31 января 1811 г. «Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I». Ред. и вступит. статья А. Кизеветтера. М., 1913, т. II, стр. 251.

приобщить русское общество к либеральным замыслам царя; переводу придавали важное значение,—это значило: работе придавали значение первого опыта русского конституционного творчества. «Я остался официальным и ответственным переводчиком речи»,—вспоминал Вяземский,—и этот труд его был встречен одобрением: «государь был переводом доволен, милостиво благодарил меня за перевод»<sup>1</sup>.

В тогдашней деятельности Александра I Вяземский не мог не видеть шагов, которые последовательно вели к российской конституции. Вскоре после варшавской речи сотрудникам Новосильцова дано было более важное поручение и столь же спешное: Александр I поручил им составить «Государственную уставную грамоту Российской империи». Самый текст ее писал француз Deschamps, «писал, так сказать, прямо набело. Переливка этих работ в русские формы наложена была на меня»,—рассказывает Вяземский. Когда «переливка», совершавшаяся им в строжайшей тайне, была кончена, Новосильцов «имел намерение отправить» его «прямо к государю с изготовленною работою, для объяснения по редакции», и только «канцелярские интриги этому помешали»<sup>2</sup>. Впрочем, интриги не помешали свиданию «переливщика» с заказчиком. Вяземский так вспоминал об этом свидании десять лет спустя: «От политического образования, данного Польше, перешел государь к преобразованию политическому, которое готовит России; сказал, что знает мое участие в редакции проекта русской конституции, что доволен нашим трудом»<sup>3</sup>. Перед смертью Вяземский, дополняя этот рассказ, подчеркнул близость понимания между исполнителем и повелителем. Либералист-император даже пожаловался либералисту-поэту на консерватора-историка. «Тут косвенно были... намеки на противоположные мысли Карамзина. Напр., государем было сказано: «*Quelques-uns pensent, que les désordres dont nous sommes parfois témoins sont inhérents aux idées libérales: qu'ils ne sont que les abus de ces idées et de ces principes*». Государь говорил также о предположениях своих в отношениях к будущему государственному устройству. Перевод слов: «*constitution et libéral*» — словами: «государственное уложение и законно-свободный», принадлежит самому государю»<sup>4</sup>.

Возможно ли было чиновнику получить большие доказательства верности своего понимания воли правительства, чем те, что Вяземский получил от Александра I! Все дало ему право на

<sup>1</sup> «Автобиографическое введение». Полн. собр. соч., т. I, СПб., 1878, стр. XXXV.

<sup>2</sup> Там же, стр. XXXV—XXXVI.

<sup>3</sup> «Моя исповедь» (1829 г.). Полн. собр. соч., т. II, СПб., 1879, стр. 87.

<sup>4</sup> «Автобиографическое введение». Полн. собр. соч., т. I, стр. XXXV—XXXVI.

уверенность, что он является исполнителем прямых велений и намерений императора. Вяземский был в праве считать умеренные заповеди своего либерализма параграфами правительственной, явной и тайной, программы. Он все это так и понял: «Новые надежды, которые открылись для России в речи государевой, льстивые успехи, ознаменовавшие мои первые шаги, все вместе дало еще живейшее направление моему образу мыслей, преданных началам законной свободы, началам конституционного монархического правления, которые я всегда почитал надежнейшим залогом благоденствия общего и частного»<sup>1</sup>.

Вяземский был не одинок в своем истолковании политических заявлений и намерений Александра I. «Помимо [других причин], побудивших к возмечтанию о реформах в России,— говорит М. И. Муравьев-Апостол, этот декабрист среднего политического взлета, столь типичного для широких буржуазно-дворянских слоев декабризма,— следует упомянуть о надежде на дарование политических прав, возбужденной либеральной политикой имп. Александра, неоднократно им заявленной». Как базис конституционных чаяний декабристов, Муравьев подчеркивает то, что Александр «даровал Польше конституционное правление» и «при открытии Варшавского сейма произнес речь, возбуждавшую неописанный восторг во всей мыслящей молодежи»<sup>2</sup>.

Во второй оправдательной записке Н. И. Тургенев указывал Николаю I на варшавскую речь Александра I как на оправдание либеральных вождедений будущих декабристов: на московском съезде 1821 года прямо «ссылались на речь, государем императором в Варшаве произнесенную, в которой видели, что государь император намерен в России дать такую же конституцию, но со временем, и когда народ будет к тому готов или способен»<sup>3</sup>. В «Разборе донесения» по делу декабристов Лунин писал с убежденною твердостью: «Право союза опиралось также на обетах власти, которой гласное изъявление имеет силу закона в самодержавном правлении. «Я намерен даровать благотворное конституционное правление всем народам, провидением мне вверенным» (речь имп. Александра на Варшавском сейме). Это изречение вождя народного, провозглашенное во всеуслышание Европы, придает законность трудам тайного союза и утверждает его право на незыблемом основании»<sup>4</sup>.

Работа Вяземского дошла по назначению и была понята буду-

<sup>1</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. сочин., т. II, стр. 86—87.

<sup>2</sup> «Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма». Предисл. и примеч. С. Я. Штрайха. П., 1922, стр. 27.

<sup>3</sup> А. Шабунин. «Н. И. Тургенев в тайном обществе декабристов». — «Декабристы и их время», т. I, М., 1927, стр. 131.

<sup>4</sup> «Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма». Ред. и примеч. С. Я. Штрайха. П., 1923, стр. 70. см. также стр. 63—64.

щими декабристами именно так, как желалось инициатору опытов на польском участке. Так она была понята и более широкими кругами общества, на которые Николай I впоследствии оперся, как на врагов или отступников декабризма. «Я был в то время [именно с 1818 года], — рассказывает Греч, — отъявленным либералом. Да и кто из тогдашних молодых людей был на стороне реакции? Все тянули песню конституционную, в которой запевао́й был сам Александр Павлович». Самой высокой нотой этой «песни» старик Греч считал «фанфаронскую речь» Александра I, которую «ему хотелось блеснуть в роли конституционного короля»<sup>1</sup>.

Будущие декабристы и их временные сочувственники знали одну только эту речь — и ее было достаточно, чтобы «возбудить неописанный восторг во всей мыслящей молодежи». Вяземский знал несравненно больше их — даже то, чего не знали министры Александра I: знал, что написана уже конституция Российской империи и от одного росчерка Александра зависит воплотить ее в жизнь, а побеседовав с императором, Вяземский поверил даже, что уже очинено перо, чтоб сделать этот росчерк. Мог ли он, после всего этого, не думать, что его конституционализм и либерализм — самый последовательный и искренний легитимизм?

## 2

Вяземскому скоро пришлось, вместе со всей «молодой Россией», убедиться в том, в чем на горьком опыте убедился более крупный сотрудник Александра I: «Императору нравились внешние формы свободы, как нравятся красивые зрелища; ему нравилось, что его правительство внешне походило на правительство свободное, и он хвастался этим. Но ему нужны были только наружный вид и форма, воплощения же их в действительности он не допускал. Одним словом, он охотно согласился бы дать свободу всему миру, но при условии, что все добровольно будут подчиняться исключительно его воле»<sup>2</sup>.

1821 год в биографии Вяземского — водораздел: до этого года он — чиновник, вызывающий одобрение самого императора; после этого он — в глазах правительства — «революционер и карбонар».

В 1821 году, во время московского отпуска, как вспоминал он

<sup>1</sup> Н. И. Греч. «Записки о моей жизни». Под ред. Р. Иванова-Разумника и Д. Пинеса. Л., 1930, стр. 687. — Что «речь» дошла до общества, свидетельствуют отклики на нее в печати: «Речь президента Академии Наук С. С. Уварова» (СПб., 1818) с разными журнальными отзывами на нее, статья проф. Куннына «О конституции» («Сын Отечества», 1818, ч. 45, № 18) и т. д. Речь Александра попала даже в «Учебную книжку российской словесности» Греча (1820 г.).

<sup>2</sup> Кн. Адам Чарторижский. «Мемуары». М., 1913, т. I, стр. 307.

сам, «кончилось мое служебное поприще, и началось мое опальное»: «получил я письмо от Новосильцова, объявлявшее мне гнев государя императора. Государь запрещает мне возвращаться в Варшаву»<sup>1</sup>. Через полвека Вяземский мог пояснить дело подробнее: «В проезд государя через Варшаву из-за границы<sup>2</sup> великий князь жаловался его величеству на меня. По приказанию государя, Новосильцов написал мне, что его величество, убедившись, что я держусь принципов, несогласных с видами правительства, находит нужным воспретить мне возвращение к месту служения моего в Варшаву»<sup>3</sup>. В предназначенной для «высоких читателей» «Моей исповеди» 1829 года Вяземский не поопасался назвать вещи их именами, давая такую квалификацию этому воспрещению: «Я изгнан позорно, когда дети мои, и весь дом, и дела мои требовали моего присутствия в Варшаве»<sup>4</sup>.

При внимательном пересмотре своей деятельности Вяземскому стало бы понятно, что он мог бы быть «изгнан позорно» и гораздо раньше. Рассказывая в 1829 году о свидании своем с Александром I, он вспоминал: «В самый тот приезд мой был я соучастником в записке, поданной государю (по предварительному его соизволению) от имени гр. Воронцова, кн. Меншикова и других, в которой всеподданнейше просили мы его о позволении приступить теоретически и практически к рассмотрению и решению важного государственного вопроса об освобождении крестьян от крепостной зависимости... Генерал-адъютант Васильчиков, сперва подписавший эту бумагу и на другой день отказавшийся от своей подписи, вероятно, был главнейшею причиною неудачи в деле, которое началось под счастливым знаменованием»<sup>5</sup>. Так объяснял Вяземский «неудачу» в 1829 году. В 1820 году, непосредственно после самого происшествия, Вяземский объяснял «неудачу» ближе к действительности: «Злоупотребления режутся на меди, а добрые замыслы пишутся на песке. Я здесь недолго прожил, а успел уже видеть, как разнесло ветром начертание прекрасных предположений. Грустно и гадко! И самые честные люди из видных не что иное, как временщики: по движению сердца благородного бросаются вперед; по привычке трусить — при первом движении августейшего махалы отскакивают назад. И до сей поры адская надпись Данта блестит еще в полном сиянии на заставе петербургской»<sup>6</sup>. Дело, оказывается, было не в переметчестве

<sup>1</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 92—94.

<sup>2</sup> С конгресса в Лайбахе (январь—апрель 1821 года).

<sup>3</sup> «Автобиографическое введение». Полн. собр. соч., т. II, стр. XVII—

### XVIII.

<sup>4</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 93.

<sup>5</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 88.

<sup>6</sup> Письма к С. И. Тургеневу (конец июня 1820 года). «Остафьевский архив князей Вяземских». Под ред. и с примеч. В. И. Саитова. Т. II. СПб., 1899, стр. 40.

царедворца, а в «первом движении августейшего махалы», желания которого переметчик понимал лучше, чем «либералисты». Так, еще в 1820 году если не «изгнан», то отогнан был Вяземский вместе с «либералистами» от крупного общественного дела. Это могло служить хорошим уроком на будущее.

«Изгнание» 1821 года было «позорно» своей неожиданной резкостью, необычной формой *interdicere aqua et igni Varsaviae*. Оно так оскорбило тогда Вяземского, что он демонстративно подал прошение о выключении его из звания камер-юнкера двора, носимого с 1811 года<sup>1</sup>, но, само по себе, «изгнание» не заключало ничего неожиданного. Вяземский давно находился под тайным надзором и давал довольно обильный материал для него.

За несколько месяцев до изгнания он писал Жуковскому: «Страшусь за твою царедворную мечтательность. В наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его. Я не вызываю бунтовать против них, но не знаться с ними»<sup>2</sup>. Это советовалось преподавателю будущей императрицы, жившему во дворце. А. И. Тургеневу в письме от 30 января 1821 года давалось поручение отыскать знакомых офицеров и сообщить им, «что делается здесь в военном мире. Самовластие во всей своей дикости нигде так не уродствует, как здесь; Павел, иступленный, казнил, но не любовался в уничтожении своих жертв. Здесь преподается систематически курс посрамления достоинства человека, и кто успешно выдержит полный опыт, тот смело может выдать себя за отборного подлеца и никакого соперничества в науке подлости не страшиться»<sup>3</sup>. Это писалось Вяземским о цесаревиче, а вот что писал он о самом императоре: «Дождь, сырость так с неба и падает, а вся кавалерия мочится на учении. Разумеется, и государь тут. Вот что они называют царствовать. Глупость пуше неволи». «Нас морочат — и только; великодушных намерений на дне сердца нет ни на грош. Хоть сто лет он живи, царствование его кончится парадом, и только»<sup>4</sup>. Такого рода отзывы и мнения, хорошо известные, благодарно перлюстриации писем, Новосильцову и Константину Павловичу, а вероятно, и самому «либералисту на троне», отлично подготовляли не только «изгнание» Вяземского, но и его самого должны были готовить к этому «изгнанию». Когда оно совершилось, он писал другому своеобразному изгнаннику, М. Ф. Орлову, в Кишинев: «Я и до опалы хотел итти в отставку. Мне и самому казалось неприличным быть в глубине совести своей [тут Вяземский не точен: не только «в глубине совести своей», но и на страницах писем к

<sup>1</sup> См рассказ самого Вяземского в «Русск. Архиве», 1888 г., кн. 3, стр. 172—173.

<sup>2</sup> Письмо от 15 марта 1821 г., там же, 1900 г., № 2, стр. 18

<sup>3</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 150.

<sup>4</sup> Там же, стр. 53—56. Оба отрывка из августовских писем 1820 г.

друзьям, доступных не только друзьям] — в открытой противоположности со всеми действиями правительства»<sup>1</sup>. Правительство раньше его самого поспешило прекратить это «неприличие» политической «противоположности».

Однако и шестьдесят лет после «изгнания» Вяземский, тогда товарищ министра в отставке, не мог еще забыть резкости постигшего его перехода от либерального «верноподданного» к опальному изгнаннику и продолжал оправдываться: «Я ни душою, ни телом не виноватый, а разве одною гимнастикою языка прослыл за революционера и карбонара»<sup>2</sup>. Так сильна была его убежденность, — общая у него с такими служилыми штатскими декабристами, как Батенков, Семенов и др., — что его «опальное поприще» никак не следовало из «служебного», которое было в плане правительственного либерализма.

А правительство могло бы предъявить Вяземскому немалый индекс, из которого он мог бы усмотреть, что, с точки зрения правительства, он виноват не без вины. Шеф Вяземского по литературно-конституционным делам, Новосильцов, в одном тайном документе начала 20-х годов выражал опасение, «что революционеры... привьют народу болезненное желание заменить монархический образ правления народным». Стремление к такой замене Новосильцов усматривал уже в самой конституции Царства Польского. Конституционно-опытное поле в Польше «является не только предлогом и средством для деморализации других народов, подвластных российскому скипетру, но и прямою угрозою самым жизненным интересам государства»<sup>3</sup>. Такова была изнанка той мягкой либеральной материи, которую ткала канцелярия Новосильцова при участии Вяземского<sup>4</sup>. Новосильцов был последователен, когда читал всю переписку Вяземского, подозревавшего, что ее где-то читают, но не думавшего, что ее читают так близко от него. В бумагах Новосильцова найдена его записка Константину Павловичу: «J'ai le bonheur de transmettre ci-joint à votre altesse impériale l'extrait de la lettre de m-r Tourguéneff au prince Wiasemsky, concernant l'événement qu'a eu lieu à St.-Petersbourg dans une des cazernes des gardes. Je garantis la conformité de cet extrait avec l'article»<sup>5</sup>. Возмуще-

<sup>1</sup> Письмо от 10 ноября 1821 г. Полн. собр. соч., т. II, стр. 109.

<sup>2</sup> «Автобиографическое введение». Полн. собр. соч., т. II, стр. XVII.

<sup>3</sup> «Из бумаг Н. Н. Новосильцова». Сообщил И. Г. Попруженко. «Русск. Архив», 1909 г., № 6, стр. 259.

<sup>4</sup> Поляки давно и отлично понимали задачу Новосильцова в «конституционном» Царстве Польском. «На Новосильцова смотрят как на надсмотрщика за правительством, — сообщал Чарторижский Александру I, — который обязан не допускать его мирно пользоваться предоставленными ему вашим величеством правами» (письмо 1816 года, — «Мемуары», т. II, стр. 337). Можно себе представить, с какой улыбкой принимал это сообщение Александр II

<sup>5</sup> «Из бумаг Новосильцова», стр. 263.

ние Семеновского полка, о котором А. И. Тургенев писал Вяземскому, было в глазах Новосильцова одною из первых русских проб той «прививки народу» революционных запросов и желаний, которую Новосильцов ставил в связь с либеральным польским экспериментом. Тем, кто, как Вяземский с Тургеневым, живо и не без сочувствия к «пробе» и «пробующим» делились вестями такого рода, Новосильцов с Константином Павловичем присвоивали титул революционеров. Вяземский и сам через полвека признал: «Не один язык мой, но и перо мое было враг мой. В переписке моей... позволял я себе... откровенно, резко и нередко заносчиво говорить о том, что делалось в официальном польском мире»<sup>1</sup>. Делал он это сознательно, как видно из письма к А. И. Тургеневу от 21 ноября 1820 года. «Не поручусь за ненарушимость переписки и предаюсь безмолвно, т. е., напротив, гласно, на жертву всяких пакостей. Теперь не время осторожничать. Пусть правда доходит до ушей, только бы не совсем пропадала в пустынном воздухе»<sup>2</sup>. В 1829 году он повторил, что писал свои письма «в надежде, что правительство наше, лишенное независимых органов общественного мнения, узнает, через перехваченные письма, что есть однакоже мнение в России, что посреди тусного молчания господствующего на равнине нашего общежития, есть голос бескорыстный, укорительный представитель мнения общего»<sup>3</sup>. Константину Павловичу, читавшему «Исповедь», Вяземский, *post factum*, признался, что в своих письмах соорудил себе трибуну политического свободомыслия и пропаганды. Правительство Александра I немало наслушалось речей с этой трибуны. У нее была связь с той трибуной, которая красовалась тогда в оппозиционной Франции. «Политическая трибуна представителей французского народа была в то время богата великими и красноречивыми ораторами. Я, грешный человек, особенно любовался и увлекался красноречием ораторов левой стороны: Бенжамена Констана, генерал Фуа, Казимира Перье и других передовых сподвижников конституционного порядка»<sup>4</sup>. Правительство считало произнесение этих речей, хотя бы и с трибуны перлюстрированных писем, преступным. А Вяземский с жаром произносил

<sup>1</sup> «Автобиографическое введение». Полн. собр. соч., т. II, стр. XVIII

<sup>2</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 105.

<sup>3</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 105. Через двадцать лет такую же цель ставил себе М. С. Лунин, посылая сестре письма из сибирской ссылки, в чаянии, что их прочтут в III отделении и, быть может, доведут содержание их до сведения Николая I: «Цель моих писем состояла в том, чтобы обозначить органические вопросы быта общественного... предприятия мое не бесполезно в эпоху прехождения, когда стихии рациональной оппозиции не существуют» («Сочинения и письма», стр. 29).

<sup>4</sup> «Автобиографическое введение». Полн. собр. соч., т. II, стр. XVII

их и в польских гостиных, и в кругу членов «Варшавского общества любителей наук», преследовавшего, без ведома русских сочленов, цели политические<sup>1</sup>. О своих «либеральных банкетах» (выражение самого Вяземского) он повещал А. И. Тургенева: «У меня каждый раз прения французской палаты снова преют за варшавским обедом»<sup>2</sup>. Продолжались и его сношения с Н. И. Тургеневым по поводу того дела, от которого он уже был милостиво отогнан и которое, в глазах правительства, являлось запретным для общества.

Число «вин» Вяземского можно бы умножить, но как бы ни был полон их список, Вяземский мог бы ответить на него Новосильцову так же, как он отвечал в 1829 году «высокому читателю»: «Политические события, омрачившие горизонт Европы<sup>3</sup> и реакционные отражения их на конгрессах в Троппау и Лайбахе набросили косвенно тень и на мой ограниченный горизонт... Я был любим поляками... Судьба моя потускнела вместе с судьбою Польши... [Александр] отрекся от прежних своих мыслей... Я остался, таким образом, приверженцем мнения, уже не торжествующего, а опального. Из рядов правительства очутился я, и не тронувшись с места, в ряду противников его: дело в том, что правительство перешло на другую сторону»<sup>4</sup>. Другими словами, не он, «либералист», стал тогда, в 1821 году, «революционером и карбонаром», а Александр I перестал быть «либералистом». Обвиняемый превращается в обвинителя.

В старости и сам Вяземский сильно и кое-где круто уклонился вправо, но «автобиографически вводя» читателя в историю своей мысли и жизни, он удержался от соблазна по-новому, по-консервативному, перепланировать «дела и дни» своих молодых лет. Говоря в 1877 году про свое изгнание, Вяземский готов признать и свою «вину», но стоит только вчитаться в это признание, чтобы увидеть, что это — признание «без вины виноватого». «Тут было много моей вины, — кается он, и поясняет, в чем была «вина», — то-есть, неосмотрительности, неосторожности»<sup>5</sup>. Это звучит признанием революционного или оппозиционного деятеля, который винит себя лишь в том, что действовал в прошлом недостаточно осторожно, но ничуть не раскаивается в своей деятельности.

В обществе широко распространена была легенда (или полULEГЕНДА), в которой обнаруживал себя сам настоящий виновник того, чего не вменял себе в вину Вяземский: «Когда кн. Василь-

<sup>1</sup> «Из бумаг Новосильцова», стр. 259.

<sup>2</sup> Письмо от 13 февраля 1820 г. «Остаф. архив», т. II, стр. 18.

<sup>3</sup> Вяземский имеет в виду революционные движения в Италии, Испании, Греции.

<sup>4</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 88—91.

<sup>5</sup> «Автобиографическое введение». Полн. собр. соч., т. II, стр. XXXVI.

чиков предложил Александру I список офицеров своего полка, замешанных в тайные общества, Александр ему ответил: — Князь, вы лучше чем кто-либо знаете, что я причиной этого, что я дал повод. Возьмите ваш список. Я не хочу его знать»<sup>1</sup>. Приблизительно так представлял себе дело Вяземский и многие декабристы. Показание легенды скрепляет, с грубой откровенностью, и Константин Павлович. 15 февраля 1826 года он писал Николаю I: «К концу царствования покойного государя было много вещей, от которых он бы и отказался, но было уже слишком поздно, и обещание, раз оно дано было, при наличии всех неоспоримых доказательств, не могло быть взято обратно»<sup>2</sup>. Если бы эти сроки цесаревича были известны Вяземскому в 1829 году, он мог бы сослаться на них в подтверждение того, что писал тогда о своей деятельности.

Любой из декабристов мог бы засвидетельствовать на оправдательных показаниях Вяземского: «С подлинным верно». Таких засвидетельствований можно найти много. Довольно сослаться на кн. С. П. Трубецкого. Его отзыв резче слов Вяземского, но ведь он зато и декабрист, а не просто «либералист», но ведь он зато и пишет не «высокому читателю» и не в 1829 году, а для потомства и в царствование Александра II: «Некоторые молодые люди, бывшие за отечество и царя на поле чести, хотели быть верной дружиной вождя своего и на поприще мира. Они дали друг другу обещание словом и делом содействовать государю своему во всех начертаниях его для блага своего народа». Но прошло немного лет, и эти «молодые люди», члены союзов «Спасения» и «Благоденствия», убедились, что Александр I, «довольный приобретенною славою, не радел о благоденствии своих подданных, словом сказать, обленился, — ко всему этому должно прибавить черты деспотизма против многих лиц и гонение на те идеи совершенствования, которые сам прежде старался распространять»<sup>3</sup>.

«Диктатор» 14 декабря говорит почти слово в слово то же, что прогнанный из Варшавы «переплавщик» русской конституции. У них одинаковое понимание и «дней Александровых прекрасного начала», и непрекрасного их конца. У них одно и то же представление о своем личном месте и деле в этом «прекрасном начале». У них, наконец, тождественно, при наступлении сумерек 20-х годов, сознание своей неизменности и правоты на ряду

<sup>1</sup> Н. В. Шелгунов. «Воспоминания». Под ред. А. А. Шилова. Л., 1923. стр. 32.

<sup>2</sup> Центрархив. «Междущарствие 1825 г. и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи». Подгот. к печ. Б. Е. Сыроечковский. Гос. Изд., 1926, стр. 189.

<sup>3</sup> «Записки кн. С. П. Трубецкого». Изд. его дочерей, СПб., 1906. стр. 12 и 26.

с изменчивостью и неправотой правительствующего «либералиста». Но то, что они делали, когда сумерки накрыли их собой, разительно противоположно: «молодые люди», о которых говорит Трубецкой, вышли с оружием на Сенатскую площадь, Вяземский удалился в привычный кабинет тенистого своего Остафьева.

Дворянский либерализм 20-х годов был неглубокое и небольшое озеро. В одном месте озеро это, — не без давления кипучих подземных ключей: брожения разночинства, рабочих и солдат, — перелилось через край, порушив берег напором своего потока: это случилось в декабре 1825 года. Поток протек, а озеро измельчало, кое-где превратилось в болото. Остафьево было одною из тихих и укромных маленьких заводей этого озера, где еще уцелела не совсем мутная, но совершенно тихая вода.

## 3

1821 год был водоразделом не только в жизни Вяземского, но и в дворянском либеральном движении начала XIX столетия: в этом году самозакрылся Союз Благоденствия, и дворянское политическое движение, дотоле находившее выражение в рамках этой организации, разделилось на два потока, разных по силе и глубине стремления — на конституционно-монархическое (в основе своей) Северное Общество и республиканское Южное, — но одинаковых по своему первому целеустремлению: уничтожение крепостничества и самодержавия.

Мог ли Вяземский, в своем «опальном поприще», слиться с одним из них, хотя бы с тем, течение которого было медленнее!

В 10—20-х годах у Вяземского была широкая репутация вольнодумца. Известный Растопчин, знавший Вяземского издавна, всюду величал его добавочным титулом «стихотворец и якобинец». Этот титул в глазах правительства, в обществе и в среде «молодой России» сделался столь же официальным титулом Вяземского, как и «князь». Когда в 1827 году Н. А. Полевой отправился в Петербург выхлопывать разрешение на издание в Москве политической газеты, вслед ему был отправлен Бенкендорфу донос. Безымянный доносчик, предостерегая шефа жандармов от дачи такого разрешения, доносил: «Главным его (Полевого) протектором и даже участником по журналу есть известный князь Петр Андреевич Вяземский. Образ мыслей Вяземского может быть достойно оценен по одной его стихотворной пьесе «Негодование», служившей катехизисом заговорщиков (декабристов!)»<sup>1</sup>. Последуем совету доносчика, — Бенкендорф

<sup>1</sup> «Н. А. Полевой его сторонники и противники по „Московскому Телеграфу“». Сообщил Н. Д. «Русск. Старина», 1903 г., № 2, стр. 260.

признал совет дельным и не разрешил Полевому и Вяземскому газеты, — и попытаемся вникнуть в «образ мыслей» Вяземского по этой пьесе, ныне забытой.

Она написана в 1820 году в Варшаве. «Я написал его в самую эпоху борьбы или перелома мнений, — объясняет сам поэт, — и, разумеется, должно оно носить живой отпечаток мнений, которым я остался предан и после их падения»<sup>1</sup>. Но «Негодование» больше, чем «отпечаток мнений», — это и призыв, и прокламация: оно изобличает, негодует, призывает. Тонем страстного ораторского монолога стихотворение напоминает гневную «Смерть поэта» Лермонтова. Оно резче, ярче по тону самых горячих монологов Чацкого. Поэт в первых же строках отрекается от исконного права поэта на вымысел:

Я правде посвятил свой пламенный восторг  
 Не раз из непреклонной лиры  
 Он голос мужества исторг.  
 Мой Аполлон — негодованье!  
 При пламени его с свободных уст моих  
 Падет бесчестное молчанье  
 И загорится смелый стих.  
 . . . . .  
 Негодование! огонь животворящий . . .  
 Зародыш лучшего, что я в себе храню,  
 . . . . .  
 Ты мне и жизнь, и добродетель!

Это — гневный «Аполлон» Рыльева во «Временщике», а умеренный и конституционный «Аполлон» Пушкина в «Вольности» — притом «Аполлон» нашего поэта не боится цензуры: стихи Вяземского как будто с тем и писаны, чтоб они «в печати не бывали», чтоб «их и так иные прочитали». Первые аккорды «негодования», по силе и настроенности, — аккорды, извлеченные рукою декабриста: доноситель тут не солгал Бенкендорфу. Декабристу принадлежит и все дальнейшее: Александровская Россия изображена у Вяземского красками Рыльева:

Насильством прихоти вотоптаны уставы,  
 С поруганным челом бесчеловечной славы  
 Бесстыдство председит в собрании вельмож.

Читатель 20-х годов переводил это «собрание вельмож» — «Государственным Советом», детищем Александра I, а в эпоху

<sup>1</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 101. В Полном собрании сочинений Вяземского «Негодование» ошибочно приурочено к 1818 году (т. III, стр. 164—169). 13 сентября 1820 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Моя „Негодьяка“ («Негодование») добыта; надобно еще два-три дня полежать ей под сукном, а там и в свет». Через месяц она еще не была переписана, и только 7 января 1821 г. Вяземский мог послать ее всегдашнему своему первому читателю и оценщику — А. И. Тургеневу («Остаф. архив», т. II, стр. 102, 120, 136).

Священного Союза без комментариев было ясно, кто эти «отцы народов», которых поэт «зрел господствующим страхом», кто эти «владыки», у которых «советницей» видит он «губительную лесь». Картину неправосудия и ябеды, рисуемую далее Вяземским, можно найти у многих поэтов и публицистов декабря:

Законы, правоты священные орудья,  
Щитом могучему и слабому ярмом, —

но ни у кого, исключая Пушкина, нельзя встретить такого нападения на реакционное ханжество конца 10-х годов:

Зрел промышляющих спасительным глаголом,  
Ханжей, торгующих учением святым,  
В забвеньи бога душ — одним земным престолом  
Кадышам трепетно, одним богам земным.

Если эти стихи попадали в мистический причет Голицына, Фотия и др., то дальнейшее являлось гневным развертыванием позднейшей пушкинской строки: «Гурьев грабил весь народ»:

Хранители казны народной,  
На правый суд сберитесь вы;  
Ответствуйте где дань отчаянной вдовы?  
Где подать сироты голодной?  
Корыстною рукой заграбл их разврат,  
Презрев укор людей, забыв небес угрозы,  
Испили жадно вы средь пиршеских прохлад  
Кровавый пот труда и нищенские слезы.  
На хищный ваш алтарь в усердии слепом  
Народ имущество и жизнь свою приносит;  
Став ваших прихотей угодливым рабом,  
Отечество от чад вам в жертву жертвы просит.

У редкого из декабристов можно отыскать столь яркое нападение на одну из основ крепостного государства — на насильственное выжимание податями и поборами экономических соков из крепостных масс. Ни в «Деревне» Пушкина, ни в «Горе от ума» нет такого нападения<sup>1</sup>.

Вторая половина «Негодования» усиливает и делает более прозрачными мотивы и темы первой половины.

Иду я искренних жрецов  
Свободы, сильных душ кумира:  
Обширная темница мира  
Являет мне одних рабов, —

восклицает поэт, и обращается к «Свободе»:

<sup>1</sup> Ср. письмо приятеля Вяземского. М. Ф. Орлова, к Д. П. Бутурлину: «Мы не можем сделать шагу, чтоб наши денежные средства не пришли в изнеможение. Я вперед знаю твой ответ: война питает войну миримую ненависть» (20 декабря 1820 г.). — А. Сиверс. «Два письма М. Ф. Орлова к Д. П. Бутурлину». Сб. «Декабристы и их время», т. I, стр. 203.

О, ты, которая из детства  
 Зажгла во мне священный жар,  
 . . . . .  
 Свобода! пылким вдохновеньем  
 Я первый русским песнопеньем  
 Тебя приветствовать дерзал...  
 . . . . .  
 И слух ничтожных утрашал!

Поэт вопрошает «Свободу»:

Но где же чистое горит твое светило?

Первый ответ подобен тому, который в 1825 году дает Пушкин в «Андрее Шенье»:

Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд  
 Завешен пеленой кровавой.

Вяземский почти так же отозвался о французской революции. Здесь плавает оно [светило свободы] в кровавых облаках. Это — отзыв какого-нибудь будущего декабриста — умеренного конституционалиста, для которого «свобода» — это не революция, а либеральный конституционализм. Такой «свободы» нет в Европе Меттерниховской реакции: светило свободы» —

Там бедственным туманом обложило  
 И светится едва в мерцающих лучах.

Двустипшие это развертывается поэтом в яркую характеристику Европы и России в эпоху Священного Союза:

Порок с улыбкой дикой зверства  
 Тебя [свободу] злодействами честит  
 Здесь стадо робкое ничтожных  
 Витии поучений ложных  
 Пугают именем твоим:  
 И твой сообщник — просвещенье  
 С тобой, в их наглom ослепленьи,  
 Одной секирою разит,  
 Там хищного господства страсти.  
 Последнюю уловкой власти,  
 Союз твой гласно признают;  
 Но под щитом твоим священным  
 Во тьме народам обольщенным  
 Невольи хитрой цепь куют.

Прочтя эти строки, А. И. Тургенев переспросил Вяземского: «„Союз твой гласно признают“... Не другое ли тут хотел ты сказать?» — и Вяземский поспешил отозваться: «Да, гласно, то-есть на бумаге и на кафедре Европы, а под рукой развертывают этот союз с свободой и связываются с макиавеллическим тиранством»<sup>1</sup>. Задачей этих стихотворных строк было прямое разоб-

<sup>1</sup> Письмо А. И. Тургенева от 19 января 1821 г. и ответ Вяземского от 29 января «Остаф. архив», т II, стр 141 и 149

лечение европейской деятельности «либералиста на престоле», — разоблачение, какое, в прозе, находим в позднейших «записках декабристов» и у Чарторижского.

Как подлинный гражданский поэт, Вяземский искал случая, чтобы «разоблачение» доходило по адресу, попадало в цель. Узнав, что А. И. Тургенев дает читать некоторые его стихи супруге Александра I, Елизавете Алексеевне, поэт, пренебрегая заведомой перлюстрацией писем, писал А. И. Тургеневу: «Я рад, что царица, le seul homme de la famille, увидит, что делается в этой России, управляемой с почтовой коляски... Но впрочем, что она моего знает? Шептанье, лепетанье, но голос мой грудной заглушен ценсурой. Дайте ей «Негодование»... Мои слова — зерна: сами собою они ничего не значат, но вверенные пошве производительной, они могут приготовить богатую жатву»<sup>1</sup>.

Как ни мрачно рисуется поэту настоящее России, будущее, по вере его, принадлежит «свободе»:

Свобода! О, молодая дева!

Ты победишь упорство гнева  
Твоих неистовых врагов.

Поэт приоткрывает широкую перспективу того, что в силах сделать свобода после своей победы. Любая черта этой картины, переложенная прозой, может быть перенесена в записки декабристов или заменена чертами, почерпнутыми из их рассуждений и показаний.

Свобода политическая принесет освобождение крестьян:

Ты снимешь роковую клятву  
С чела, поникшего земле,  
И пахарю осветишь жатву,  
Темнеющую в рабской мгле.

Подобно декабристам, теоретически и практически сведущим в государственной экономии, финансах, промышленности, торговле, каковы Н. И. Тургенев, Батенков, Штейнгель, Пущин, Семенов и др., Вяземский утверждает необходимость «свободы» — монархического конституционализма — для развития сельского хозяйства, промышленности и культуры:

Твой глас, будитель изобилья,  
Нагие степи утучнит,  
Промышленность распустит крылья  
И жизнь в пустынях водворит,  
Невежество, всех бед виновник,  
Исчезнет от твоих лучей,  
Как ночи сумрачной любовник  
При блеске утренних огней.

<sup>1</sup> Письмо от 20 января 1824 г. «Остаф. архив», т. II, стр. 143.

Вся политическая и экономическая программа среднего дворянско-буржуазного декабризма здесь налицо. В словах доносчика, что «пьеса «Негодование» служила катехизисом заговорщиков», не много преувеличения: если не служила, то могла служить, поскольку была у них нужда в поэтическом катехизисе. «Катехизис» Вяземского полнее и точнее таких поэтических катехизисов декабризма, как «Горе от ума», «Деревня» и «Вольность» Пушкина, «Вельможе» и другие стихи Рылеева. Но Вяземский, движимый Аполлоном «негодования», оказался в своих стихах не только поэтом декабризма, каким был Пушкин, но и поэтом декабря, каким был Рылеев: «катехизис» заканчивается прямым призывом на Сенатскую площадь:

Он загорится — день, день торжества и казни,  
 День радостных надежд, день горестной боязни!  
 Раздастся песнь побед вам, истины жрецы,  
 Вам, други чести и свободы!  
 Вам плач надгробный: вам, отступники природы,  
 Вам, притеснители! вам, низкие льстецы!

Вяземский оказался здесь — вряд ли ожиданно для себя<sup>1</sup> — певцом южного декабризма. С. Муравьев-Апостол и М. Бестужев-Рюмин, вероятно, не отказались бы признать своим певца, так закончившего свое «Негодование»:

Но мне ли медлить? — грязную их братью  
 Карающим стихом я ныне поражу;  
 На их главу клеймо презренья положу  
 И обреку проклятью.  
 Пусть правды мстительный Перун  
 На терпеливом небе дремлет,  
 Но мужественный строй моих свободных струн  
 Их совесть ужасом объемлет.  
 Пот хладный страха и стыда  
 Пробьет на их челе угрюмом,  
 И честь их распадется с шумом  
 При гласе правого суда.  
 Страж пепла их моя недремлющая злоба  
 Их поглотивший мрак забвенья разорвет  
 И гневную рукой из недр исхитит гроба.  
 Ко славе бедственной их память прикует<sup>2</sup>.

Все это — монолог поэта декабря, и нет ничего удивительного, что будущие деятели декабря переписывали эти стихи и распространяли: в агитационной поэзии декабристов принадлежит им одно из самых первых мест. Вяземский сам раздавал списки «Негодования». Характерен вопрос, с каким он обра-

<sup>1</sup> Именно к этому концу стихотворения, слишком «левому» для Вяземского, должно отнести его признание в «Исповеди»: «Такие произведения не могут быть почитаемы за выражение целой жизни; они — беглые выражения минуты, внезапного впечатления» (Полн. собр. соч., т. II, стр. 101).

<sup>2</sup> Полн. собр. соч., т. III, СПб., стр. 164—169

тился к А. И. Тургеневу, послав через него список его брату. «Угодил ли своим «Негодованием» Николаю Ивановичу?» Вопрос предвещает утвердительный ответ. Очевидно, в расчете на такой ответ Вяземский советует Н. И. Тургеневу: «Пусть возьмет один список с собой в diligence и читает его по дороге. Только не доехать бы ему таким образом от Петербурга до Москвы и дальше, как Радищеву» (письмо от 7 января 1821 г. из Варшавы)<sup>1</sup>. Слова Вяземского о Радищеве, продолжившем свое «путешествие из Петербурга в Москву» подчеловольной поездкой в «острог Илимский», могли выражать опасение за участь Н. И. Тургенева, как политического конспиратора, если Вяземский знал, что он едет в Москву на совещание тайного общества. Г. В. Вернадский, как увидим дальше, высказал догадку еще и о другой возможной причине опасливых слов о Радищеве. Как бы то ни было, но контекст письма не оставляет сомнения, что первой причиной полущутливого, полуопасливого воспоминания о Радищеве было то дорожное чтение, которым снабжал Тургенева Вяземский. В его глазах «Негодование» было сочинением, похожим на «Путешествие» Радищева, т. е. настолько антиправительственным, что могло сулить поездку «дальше», на восток от Москвы<sup>2</sup>.

На присыл «Негодования» А. И. Тургенев тотчас же отозвался: ««Негодование» — лучшее твоё произведение. Сколько силы и души! Я перечитываю некоторым приятелям с восхищением», — и тотчас же предупредил Вяземского, что нечего и «думать, чтобы цензура нашего времени пропустила эту цензуру нашего времени и нас самих. Я и читать стану «Негодование» немногим: это совет благоразумия... Я заставил одного поэта, служащего в духовном департаменте [стало быть, под начальством самого Тургенева], переписать твоё «Негодование». В трепете приходит он ко мне и просит избавить его от этого. «Дрожь берет при одном чтении, — сказал он, — не угодно ли вам поручить писать другому?» — «Согласен», — отвечал я». Отказавшийся переписчик явно поопасался уехать на восток за «Негодование». Тургенев решительно отклонял просьбы Вяземского — послать список «Негодования» тому или другому лицу. «Я дал себе слово читать ее некоторым верным приятелям, но копии ни

<sup>1</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 137.

<sup>2</sup> Как было отмечено, в «Исповеди» 1829 года Вяземский считал нужным «разъяснить» это стихотворение, утверждая, что у него «во мнительных сочинениях на совести нет, так как нет нигде оскорбления державной власти» (Полн. собр. соч., т. II, стр. 101). Тайная полиция Николая I судила об этом иначе. Оговаривая здесь кстати, что, на деле, Н. И. Тургеневу не могла грозить из-за «Негодования» участь Радищева потому, что он уехал из Петербурга в Москву 1 января 1821 г., а Вяземский, выслав «Негодование» А. И. Тургеневу лишь 7-го, не знал об этом и предлагал свои стихи в дорожное чтение Н. И. Тургеневу.

одной не давать». Успех «Негодования» в обществе рос, и чем более имело оно успеха, тем осторожнее делался, услужливый на распространение стихов Вяземского, его старый приятель: «Ко мне ездят слушать «Негодование», я уже его вытвердил наизусть, но ни одной копии не выдал и не выдам». «„Негодяйки“ [шутливое название стихотворения в переписке Вяземского с Тургеневым] по почте посылать нельзя... Ты заехал на границу Европы и требуешь от нас того, что и у вас не совсем на свет показывается. Я всем читал ее, все ею восхищались, но и тебе, и себе беды бы наделал, если бы не поступал с нею осторожно»<sup>1</sup>. Свидетельства эти приведены здесь с некоторым избытком для того, чтобы показать тот общественный интерес и ту высокую политическую оценку, которые вызывала к себе оппозиционная лирика Вяземского<sup>2</sup>. Вяземский попадал своими инвективами в самые болезненные места современности. Это случилось потому, что стихи его рождались из подлинных общественно-политических сочувствий и негодований, общих у него с представителями довольно широких дворянских и буржуазных слоев. «Я — термометр, — признавался сам Вяземский, — каждая суровость воздуха действует на меня непосредственно и скоропостижно... Как гражданин Европы просвещенной, как сын России, перстом провидения к великому назначению призываемой, не могу без негодования видеть пресмыкающиеся препятствия, нас от великой цели отделяющие»<sup>3</sup>. Вот — непосредственный источник стихотворения, которое, вопреки заботам А. И. Тургенева, распространилось и в списках и в рукописных сборниках; признание это сделано 3 октября, а через месяц с небольшим было уже написано стихотворение, о котором автор признавался, что «нигде столько души моей не было, как тут», и что оно писано «с жаром»<sup>4</sup>.

Легко было бы, поэтому, прокомментировать «Негодование» стривками из писем и записных книжек Вяземского той поры. Эпиграфом к нему могла бы служить заметка: «Что есть любовь к отечеству в нашем быту? Ненависть настоящего положения. В этой любви патриот может сказать с Жуковским: „В любви я знал одни мученья“»<sup>5</sup>. В 1820 году в письме к М. Ф. Орлову,

<sup>1</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 140, 142, 145, 153, 164 — письма от 19 и 26 января, 2 и 16 февраля 1821 г.

<sup>2</sup> В 1825 году будущему декабристу А. П. Беляеву случилось плыть с Вяземским из Ревеля в Кронштадт. Вяземский вспоминает: он «оживлял наши вахты и кают-компанию: говорил нам много своих стихов, между которыми были и очень либеральные, согласно нашему всеобщему тогда настроению» (А. П. Беляев. «Воспоминания о пережитом». «Русск. Старина», 1880 г., т. 30, стр. 25).

<sup>3</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 80—81.

<sup>4</sup> Там же, стр. 102, 105. Разрядка наша.

<sup>5</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 47.

Вяземский указывал, что именно «ненавистью настоящего положения» Россия связана с Польшей: «Не быть им свободными, пока мы будем в цепях; не царствовать у них законам, пока у нас божиею милостью будет царствовать самовластие. В этом отношении еще более, чем в прочих, желаю им успехов на поприще свободы законной. Сам самовластный император задушит царя конституционного... Как же нам надеяться на перерождение этого императора в государя в силу закона? Как ни морщись, а подай искреннюю руку народу, с коим сродство наше уже непреложно: сродство благоденствия, или бедствий. Одну чашу пить нам; не станем мутить ее друг другу и подкидывать яд»<sup>1</sup>. Всероссийское «божиею милостию самовластие» должно сгнать — только тогда может угаснуть то «негодование», которое не может не вызывать к себе русское настоящее. «Да придет царствие твое и избави нас от дураков (или введи нас в искушение). Вот молитва русских конституционистов... И глупость не в толпе, а, как на показ, в людях, выставленных прavitельством. В толпе есть всегда добрый запас здравого смысла, и вот отчего завтра завел бы я представительство у нас», — не обинуясь пишет Вяземский А. И. Тургеневу, и ему же повторяет: «Правительство наше, робёнок, шалит и говорит: «никто не увидит!» Пора, пора приставить к нему в дядьки представительство народное... Беда только, как дядька не забудет, что он из рабов, и станет на все говорить: „Ваша господская воля“»<sup>2</sup>. Даже «опала» 1821 года не помешала Вяземскому писать Орлову, что им подготовлен к печати «перевод всей польской конституции, хартии и образовательных уставов»<sup>3</sup>. Он замышлял это предприятие с целью внедрения в обществе конституционных идей. Из конституционных высказываний Вяземского позволительно привести еще одно, хорошо очерчивающее его умеренный, типично-аристократический, крупнопоместный конституционализм.

«В обществе, — говорит Вяземский, — где я не имею законного участия по праву того, что я член одного общества, я связан. Читая газеты, видя, что во Франции, в Англии человек пользуется полнотою бытия своего нравственного и умственного, видя там, что каждая мысль, каждое чувство имеет свой исток и применяется к общей пользе, я не могу смотреть на себя иначе, как на затворника в тюрьме, которому оставили употребление одних неотъемлемых способностей, и то с ограничениями; а свобода его в том заключается, что он для службы острога ходит, брэнча це-

<sup>1</sup> «Архив братьев Тургеневых», вып. 6, под ред. Н. К. Кульмана. П. 1921, стр. 379.

<sup>2</sup> Письма от 22 февраля и 17 марта 1819 г. «Остаф. архив», т. I. СПб., 1899, стр. 194 и 204.

<sup>3</sup> Полн. соб. соч., т. II, стр. 110—111. Вяземский и в 1820 году делал попытки печатать в русских журналах польские конституционные акты.

пами, по улице за водой, метет улицы и проч., или собирает милостыню для содержания тюрьмы. В таком насильственном положении страсти должны быть раздражаемы. Вероятно, если человеку, просидевшему долго с узами в руках, удастся их расторгнуть, то первым движением его будет не перекреститься или подать милостыню, а разве ударить того и тех, которые связали ему руки и дразнили его на свободе, когда он был связан»<sup>1</sup>.

Вяземский хорошо выразил здесь чаяния, которые неслуживый аристократ богатых поместий и литературы мог предъявить к аракатеевскому правительству Александра I. Он не вносит ни одной поправки к аристократическому конституционализму Англии и Франции 20-х годов: там все хорошо, там «человек пользуется полнотою бытия своего» — «нравственного и умственного»: об экономическом ни слова! — и нужно лишь стараться, чтобы эта «полнота бытия» поскорее была перенесена и в Россию. С переносом ее опасно запаздывать: не то — «долго просидевший с узами на руках» может освободиться сам — и тогда ударит своих притеснителей. Конституционализм предохраняет от этого удара революции. Но едва ли не самой важной долей чаемой «полноты» представлялась писателю-аристократу свобода печати: «Дай нам не полную, но умеренную свободу печатания, — пишет он Орлову, — сними с мысли алжирские цепи, — и в год словесность наша преобразуется»<sup>2</sup>.

Но мечтая и о такой неполной «полноте бытия» и задумывая распространять конституционные идеи в русском обществе, Вяземский забывал, что это невозможно уже делать в 1821 году тем путем, на какой он рассчитывал: Александр I еще в 1820 году признал «несвоевременность» конституционных учреждений даже на небольшом польском участке, дав «Константину carte blanche в приемах охраны покорности и порядка»<sup>3</sup>. Чего же было ожидать после этого, какой «полноты бытия», для всего русского поместья? Распространение общественно-политических идей могло идти после 1821 года только одним путем — путем приготовления насильственного крушения самодержавия.

## 4

Мог ли Вяземский идти этим путем?

Будущие декабристы думали, что мог, — по крайней мере, некоторые из них.

Нет нужды доказывать, что Вяземский знал о существовании Союза Благоденствия. Если даже благодушно-сентиментальному

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 45—46.

<sup>2</sup> Письмо от 10 ноября 1821 г. Полн. собр. соч., т. II, стр. 109

<sup>3</sup> А. Е. Пресняков. «Александр I». П., 1924, стр. 174—175.

поэту и преданному придворному Жуковскому был предложен для чтения устав этого Союза, то трудно допустить, чтобы не предложили его автору «Негодования» и переводчику польской речи. Однако у нас нет ни одного указания на участие Вяземского в Союзе Благоденствия, где играли видную роль столь близкие ему люди, как М. Ф. Орлов, Н. И. Тургенев, Н. М. Муравьев и др., и где побывал и его шурин кн. Ф. Ф. Гагарин. В своих, далеко не единичных, высказываниях о декабрьском движении, сделанных уже в царствование Александра II, сам Вяземский не делает ни одного намека на участие свое в Союзе. Но это не означает, что он не знал о его существовании или не сочувствовал его идеям. Последнее было бы невероятно для автора первых опытов русской конституции, для оппозиционного корреспондента Н. И. Тургенева и М. Ф. Орлова, которые пытались и самопотешающийся «Арзамас» сделать легальным филиалом Союза Благоденствия. В 1818 году Н. И. Тургенев с кн. С. П. Трубецким помышляли о журнале, идейное ядро которого должны были составить члены Союза: Никита Муравьев, И. Г. Бурцов, Ф. Н. Глинка и др., а оболочкой этого ядра должны были быть известные писатели, близкие к Союзу, в их числе Пушкин и Вяземский<sup>1</sup>.

Можно даже думать, что Вяземский был своего рода «тленом-корреспондентом» Союза. Известен рассказ И. Д. Якушкина о том, что, незадолго до закрытия Союза, Н. И. Тургенев сочинил вторую часть его устава, ставившую ему чисто-политические цели: Тургенев «одному только Никите Муравьеву прочел новый устав общества, после чего из предосторожности он положил его в бутылку и засыпал табаком». Тургенев отвергал приписанное ему Якушкиным авторство «нового устава». С немалой долей вероятия Г. В. Вернадский указал, что ключ к этой темной истории находится в руках Вяземского: «Якушкин, очевидно, ошибся; вместе с тем, однако, он и не выдумал бы без всяких оснований того, что сообщает. Какой-то «устав» (но, значит, не устав Союза Благоденствия) Н. И. Тургенев действительно мог скрывать в 1821 году в табаке. В ноябре 1820 года Вяземский писал из Варшавы в Петербург А. И. Тургеневу: «Твой брат нюхает ли табак? У меня для него лежит табакерка à la charte Touquet и послание». Вслед за тем А. И. Тургенев известил Вяземского, что брат его уехал в Москву в самый Новый год (1821-й). Вяземский отозвался на это уже известным нам опасением: «Только не доехать бы ему таким образом от Петербурга до Москвы и дальше, как Радищеву». «Н. И. Тургенев ехал в Москву на важное собрание Союза Благоденствия (решившее

<sup>1</sup> А. Шебуни. «Н. И. Тургенев в тайном обществе декабристов». Сб. «Декабристы и их время», т. I, стр. 130.

участь Союза); в Москве он как раз должен был видеть и действительно видел Никиту Муравьева. Не привез ли он Муравьеву в подарок от кн. Вяземского табакерки *à la charte*, т. е. уставной граматой, *charte constitutionnelle*?<sup>1</sup> Содержание «Уставной граматой» не осталось в тайне для Н. Муравьева, когда он составлял свою «конституцию». Самое заглавие ее первой редакции свидетельствует, по мнению Г. В. Вернадского, о знакомстве его с текстом «Уставной граматой». Возможно даже утверждать влияние знакомства с нею на перемену убеждений Н. Муравьева: по его показанию, «в продолжение 1821—22 гг. [он] удостоверился в выгодах монархического представительного правления» и предпочел его республиканскому. Однако в показаниях Следственной комиссии Муравьев «ограничился косвенным намеком, когда, казалось бы, ему был прямой расчет прямо указать на Уставную грамату». «Дело в том, — говорит Г. В. Вернадский, — что такое указание выдавало бы головой Вяземского». «Уставная грамата» держалась Александром I в строжайшем секрете даже от его министров, и, ознакомив с нею Муравьева, Вяземский, видный правительственный чиновник, совершил тяжелое государственное преступление. Поэтому Муравьев должен был умолчать о своем знакомстве с «Уставной граматой»; иначе ему пришлось бы отвечать на вопрос: от кого он ее получил? «Н. И. Тургенев в своей книге «*La Russie et les Russes*», изданной в 1847 году, когда страсти вполне улеглись, все еще не назвал имени Вяземского полностью даже по поводу совершенно невинной попытки 1820 года составить общество для подготовки крестьянской реформы»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Нюхательный табак вообще играл некоторую роль в тайнописи тогдашних либералов. Нюхательным табаком особенно славилась тогда Испания, а как раз в 1820 году там происходило революционное движение. В то же время, когда Вяземский спрашивал А. И. Тургенева, нюхает ли его брат табак, А. С. Пушкин, из Каменки, из гнезда декабристов, советовал Н. И. Гнедичу: «Нюхайте шпанского табаку и чихайте громче, еще громче» (письмо от 4 декабря 1820 г. «Письма», под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I. Л., 1926, стр. 15). Это был тайнописный совет следить с интересом и сочувствием за испанской революцией; сам Пушкин, как известно, следил за нею с живостью и увлечением. В том же письме признавался он уже без тайнописи, что занимается «демагогическими спорами». — Предположение Г. В. Вернадского нуждается, однако, в одной важной поправке: Никита Муравьев на съезде 1821 года в Москве не был и мог получить, через посредство Н. И. Тургенева, «Уставную грамату» от Вяземского лишь позднее.

<sup>2</sup> Г. В. Вернадский. «Скрытый источник конституции Н. М. Муравьева», «Известия Таврич. университета», кн. 1. Симферополь, 1919, стр. 140—141. За указание этой статьи я благодарен Н. М. Дружинину. Большая работа того же автора — «Государственная Уставная грамота Российской Империи», 1820 г., Прага (литография), — осталась мне недоступна. — Та общественная атмосфера, среди которой могла состояться передача Вяземским «табакерки *à la charte Touquet*» станет яснее при знакомстве с тогдашней перепиской его

В Союзе Благоденствия было много приятелей у Вяземского. Благодаря этому оказалось у него много их и среди декабристов. В 1829 году он не таится в «Исповеди» о «некоторых моих приятелях, павших жертвами сей эпохи», и признается, не обвиняясь, что был «в приятельской связи с некоторыми из обвиненных»<sup>1</sup>. «Приятельство» Вяземского было построено не на одном лишь личном дружестве, но и на объединявшем их общественно-политическом сочувствии и негодовании. Немудрено, что некоторые из приятелей захотели дружескую связь с Вяземским закрепить связью политической.

О вербовке Вяземского в члены Северного Общества мы знаем только то, что открыл он сам. В «Исповеди» 1829 года, говоря о декабрьском движении и указывая: «Мое имя не вписалось в его роковые скрижали», Вяземский подчеркивал: «Скажу без уничижения и без гордости, имя мое, характер мой, способности мои могли придать некоторую цену моему завербованию в ряды недовольных, и отсутствие мое между ними не могло быть делом случайным, или от меня независимым»<sup>2</sup>. Нельзя иначе расценить этих слов, — читателями которых были Николай I и Константин, — как прикровенного признания, что Вяземского вербовали и он отказался от участия в Обществе. Своих прав на вербовку он не почел нужным утаить: «мое имя» — это было имя поэта «возмутительных стихотворений»<sup>3</sup> и редактора русской конституции; «мой характер» — это был характер независимого человека с репутацией «якобинца»; «мои способности» — они были признаны всеми, начиная с Александра I.

с Тургеневым (А. И.). Фраза о «табакерке» находится в письме от 20 ноября 1820 г.: «Виноват, прозевал или, лучше сказать, проел и проспал эстафету. Письмо выдали очень поздно, ибо, вероятно, по поводу Семеновского обстоятельства [восстание Семеновского полка] ваши письма прошли по горнилу испытаний. Вот то, которое написалось сгоряча по получении твоего известия. Твой брат», и т. д. Об отъезде Н. И. Тургенева в Москву Александр Иванович сообщает Вяземскому с таким добавлением: «Приехавший из Москвы Вигель рассказывает, что меня и братьев там распинают за какой-то либерализм и за бывшую и другую, придуманную, размовку с министрами юстиции и финансов, да что-то и на Сергея всклепали. C'est l'histoire du jour et pourtant on n'y voit pas clair» («Остаф. архив», т. II, стр. 101, 135—136).

<sup>1</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 96.

<sup>2</sup> «Моя исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 96.

<sup>3</sup> Кроме «Негодования» и ряда острых эпиграмм, еще «Петербург», отрывок из которого удалось напечатать Рылеву и Бестужеву в «Полярной Звезде» на 1824 год. «Собрание сочинений» Вяземского и в 1880 году ограничилось перепечаткой этого же отрывка (т. III, изд. 1881 г., стр. 157). Вообще это издание не дает полного подбора оппозиционной лирики Вяземского, имевшей широкое изустное и рукописное распространение.

Через много лет Вяземский сделал бесприкровенное «Примечание» к этому месту «Исповеди»: «Некоторые попытки, разумеется, весьма неопределенные и загадочные, были пущены на меня, но нашли во мне твердое отражение. Я всегда говорил, что честному человеку не следует входить ни в какое тайное общество, ne fut ce que pour ne pas risquer de se trouver en mauvaise compagnie. Всякая принадлежность тайному обществу есть уже порабощение личной воли своей тайной воле вожжаков. Хорошо приготовление к свободе, которое начинается закабалением себя. Une grande partie des sociétés secrètes se composent de beaucoup de aiais et de quelques ambitieux et malintentionnés. Пропагандисты и вербовщики находили, между прочим, что я недостаточно ненавижу немцев, и заключили, что от меня проку ожидать нечего. Мне говорили после, что Якубович и Александр Бестужев были откомандированы в Москву, чтобы меня ошупать и испытать. Они у меня обедали. Разговор коснулся и немцев в России. В продолжение споров я сказал наотрез, что не разделяю этих lieux communs, которые в ходу у нас»<sup>1</sup>.

Указание на двух вербовщиков дает возможность определить время вербовки и уяснить ее характер. Писатель А. А. Бестужев вербовал писателя Вяземского. Уже в «Полярной Звезде» на 1823 год он высказал такой взгляд на Вяземского, который имел в виду не только напечатанное им, но и те стихи и афоризмы, что «в печати не бывали»: «Остроумный кн. Вяземский щедро сыплет сравнения и насмешки. Почти каждый стих его может служить пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Имея взгляд беглый и соображательный, он... научает шутками и одевает свои суждения приманчивою светскостью и блестящими ума просвещенного. Его упрекают в расточительности острот, не оставляющих даже тени в картине, но это происходит не от желания блистать умом, но от избытка оногo»<sup>2</sup>. Это—«легальная» защита тех его «возмутительных» эпиграмм и язвительных острот, про которые Вигель вспоминал: «Из Вяземского они так и сыпались. Он мог бы пострадать: как ни зубаст он был, его бы заели»<sup>3</sup>.

Современный исследователь литературной биографии Вяземского помогает понять защиту Бестужева и вербовку им Вяземского, когда пишет: «Вяземский был гражданским поэтом. Начиная с 20-х годов злободневные и памфлетные формы все больше вытесняют из его творчества лирику». В «10-е и 20-е го-

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, СПб., 1884, стр. 107

<sup>2</sup> Цитирую по «Остаф архиву», т. II, Примечания (В. И. Саитова), СПб., 1901, стр. 557—558.

<sup>3</sup> Ф. Ф. Вигель. «Записки». М., 1928, т. I, стр. 349

ды политическая продукция Вяземского прямо по назначению попадает в довольно устойчивую, полуполицейскую, полулитературную категорию возмутительных стихотворений<sup>1</sup>. Сам Вяземский признался А. И. Тургеневу: «Видно, мне на роду написано быть конституционным поэтом»<sup>2</sup>.

В 1822—25 гг. Вяземский был в довольно деятельных литературных сношениях с Бестужевым. Письма их<sup>3</sup> свидетельствуют о живой дружественности их отношений. Вяземского Бестужев называет «любезнейшим князем из всех знакомых мне князей» и, признаваясь, что «каждое» письмо князя — ему «подарок», понуждает: «Пишите ко мне, пишите для пубрики, для „Полярной Звезды”»<sup>4</sup>. Вяземский, охлаждая иной раз полемический пыл Бестужева-критика, побуждает его к деятельности: «Не пугайтесь затруднениями и расскажите нам свою поездку в матушку-Москву. За одни личности будут в праве сердиться; их, верно, у вас и не будет; а от неосновательного сердца дураков нигде и никак не упасешься. Нечего и глядеть на них; впрочем, на то и дураки, чтобы дурачить их! Предания старины; 1812 год, который все еще не проломлен нашими писателями, хотя Антонский и начинает все речи свои от незабвенного года и вторжения всеобщего врага; русская литература, долго имевшая Москву столицей своею и колыбелью, вопреки мнению Булгарина в Обозрении своем; некоторые лица, господствовавшие в ней: Новиков, Херасков и другие живые покойники; влияние Москвы на Россию, пагубное и целебное; целебное в отношении образованности, которая разлилась на губернии от нас, а не от вас; пагубное потому, что праздность, рассеянность, глупая роскошь, роговая музыка, крепостные виртуозы и в школе палок воспитанные актеры, одним словом, нелепое бригадирство с причётом своим от нас заразило Россию: все это вставиться может в раму вашу»<sup>5</sup>.

В глазах Бестужева, острота общественных суждений Вяземского, в роде той, что пронизывает это письмо, его «окогченные

<sup>1</sup> Лидия Гинзбург. «Вяземский». Вступит. статья к изданию: П. А. Вяземский. «Старая записная книжка». Л., 1929, стр. 30 и 32.

<sup>2</sup> Письмо от 24 марта 1819 г. «Остаф. архив», т. I, стр. 205.

<sup>3</sup> Переписка А. Бестужева и Вяземского напечатана в «Русск. Старине» («К литературной и общественной истории 1820—30 гг.», Сообщил В. Е. Якушкин. 1888 г., №№ 10, 11, 12, и 1889 г., № 11) и в «Старине и Новизне», вып. VIII, М., 1904.

<sup>4</sup> Письмо от 23 мая 1823 г. «Старина и Новизна», вып. VIII, М., 1904, стр. 30—32.

<sup>5</sup> Письмо от 8 апреля 1823 г. «Русск. Старина», 1868 г., № 11, стр. 313.

летуни» — эпиграммы, его «возмутительные стихи» больше всего и рекомендовали его в члены тайного общества<sup>1</sup>.

Однако, едва ли энергично вел Бестужев политическое «ощупывание» и «испытание» Вяземского в Москве: на все это у него рука была нетверда. Вербовка происходила, вероятнее всего, осенью 1825 года. В это время Бестужев сам был новобранцем декабризма. По суммирующим следственный материал сведениям «Алфавита декабристов», он был принят в Северное Общество в 1824 году, а в 1825 году (в апреле) поступил в верхний круг, т. е. в разряд «убежденных», но, вероятно, в этом разряде Верховной Думы он был одним из наименее «убежденных», судя по тому, что «Алфавит» тут же поясняет: «Сначала он был совершенно недейтелен и принял в члены одного только брата своего, мичмана Бестужева»<sup>2</sup>. Составитель

<sup>1</sup> И сам Вяземский в своем остром эпиграмматизме видел как бы политическую службу, которую должно было нести его поэтическое дарование. В 1818 году он прочел льстивые стихи П. Свицинына, посвященные временщику Аракчееву и его Грузину:

Я весь объехал свет,  
Зрел Лондон, Лиссабон, Рим, Трою,  
Дивился многому умом,  
Но только в Грузиином  
Был счастлив сердцем и душою  
И пожалел, что не поэт.

Вяземский тотчас же сделал «эпиграмматический перевод» этого холостского мадригала:

«Что пользы,—говорит расчетливый Свицинын,—  
Мне кланяться развалинам бесплодным  
Пальмиры, Трои и Афин?»  
Пусть дорожит Парнаса гражданин  
Воспомянем благородным:  
Я не поэт, а дворянин,  
И лучше в Грузино пойду путем доходным.  
Там, кланясь, могу я выкланяться в чин».

Посылая эту резкую противоаракчеевскую эпиграмму, Вяземский из Варшавы писал А. И. Тургеневу: «Ведь это, ей-богу, стыдное дело, что мне из-за границы должно отправлять вашу полицию. Свицинын полоскается в грязи и пишет стихи — и еще какне, а вы — ни слова, как будто не ваше дело. Да чего же смотрит Сверчок [Пушкин], полуночный бутюшник; при каждом таком бесчинстве должен он крикнуть эпиграмму» (13 октября 1818 г. «Остаф. архив», т. I, стр. 129—130). Сам Вяземский в 10—20-х годах то и дело «кричал эпиграмму». Эпиграмма на Свицинына могла быть напечатана лишь в 1866 году.

<sup>2</sup> «Восстание декабристов», т. VIII. «Алфавит декабристов», под ред. Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Л., 1925, стр. 35.

«Алфавита» А. Д. Боровков в своих записках подчеркивает это утверждение — «недеятелен», утверждая, что Бестужев «был так холоден, что Рылеев и Оболенский часто упрекали его и насмешливо повторяли: „Ты отдашь Общество за густые эпюлеты и флигель-адъютантские аксельбанты”»<sup>1</sup>.

В «Донесении Следственной комиссии» приводится признание самого Бестужева, что с первого заседания в кругу «убежденных» он уверился в ничтожности Общества, что он, вплоть до известия о кончине Александра I, видел в нем одну игрушку, даже искал средств удалиться, только не нарушая данного обещания и не ссорясь с товарищами, что для этого он думал той зимой жениться в Москве и ехать на несколько лет за границу»<sup>2</sup>.

Во всех этих заключениях о Бестужеве «Донесения» и «Алфавита» повторяются показания самого Бестужева Следственной комиссии и Николаю I. Императору Бестужев писал из крепости, что «всегда внутренне склонялся к монархии, аристократиею умеренной»<sup>3</sup>, и признавался, что «увлеченный» Рылеевым, он «скоро стал охладевать к этому Обществу. Невозможность что-либо сделать и недоверие к людям, которых я увидел покороче, меня убедили в сумасбродстве такого предприятия». Можно не верить в столь раннее «убеждение» в «сумасбродстве такого предприятия», но неоспоримы дальнейшие факты признаний Бестужева: выбранный в Верховную Думу, он «принял это очень равнодушно и до сентября месяца ни разу не был членом ее». Посетив в сентябре то заседание, на котором обсуждалась конституция Н. Муравьева, он продолжал быть достаточно вялым членом. «Я, наскучив упреками Рылеева о моем совершенном бездействии, сказал о существовании Общества кн. Одоевскому, которого принял Рылеев, и принял меньшого своего брата, Петра. Вот — только моих адептов, и то последнему я, кажется, не сказал много». Признание характерно для малодетельного вербовщика: поэту А. Одоевскому он только «сказал» об Обществе, переложив «принятие» его на Рылеева, а принятому брату даже «не сказал много». «Совершенное мое недоверие к средствам Общества, когда увидел я Верховную Думу, было причиною беззаботности моей на счет ее подробностей и моего неведения о многих вещах, о которых меня спрашивали [в комиссии]»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> «А. Д. Боровков и его автобиографические записки». «Русск. Старица», 1898 г., № 11, стр. 340.

<sup>2</sup> «Донесение Следственной комиссии». СПб., 1826, стр. 56.

<sup>3</sup> А. К. Бороздин. «Из писем и показаний декабристов». СПб., 1906, стр. 42

<sup>4</sup> М. Довнар-Запольский. «Мемуары декабристов». Киев, 1906, стр. 119—121

Тот факт, что все эти признания Бестужева почти целиком приняты были недоверчивыми вершителями судеб декабристов и вызвали сравнительно мягкий приговор, свидетельствуют, что «недеятельность» и «вялость» Бестужева неоспоримы были и в их зорких глазах. Таким же далеким от активного декабризма представлялся Бестужев и на взгляд сторонних свидетелей, стоявших в тяжбе между Николаем I и декабристами не на их стороне. Для Греча, близко знавшего Бестужева, «вступление его в эту сатанинскую шайку и содействие его» может быть приписано «только заразительности фанатизма, неудовлетворенному тщеславию и еще фанфаронству благородства»; Бестужева увлек Рылеев, взявший с него «слово приступить к этому скопищу»<sup>1</sup>. Наблюдательный злец Вигель признается: «Мне и в голову тогда притти не могло, чтоб у него [Бестужева] были вредные умыслы, ибо насчет мнений своих был он всегда очень скроммен»<sup>2</sup>. Нельзя не согласиться с биографом Бестужева: «Если принять во внимание, что сам Вигель в своих суждениях о русских либералах скромен не был, то ему в данном случае приходится поверить»<sup>3</sup>. Из этих официальных и неофициальных свидетельств, подкрепляемых данными писательства и переписки Бестужева за 1822—25 годы, выходит как будто, что он был членом тайного общества больше по дружбе и по соседству с декабристами, чем по желанию быть декабристом.

Правда, и официальные сведения, и Боровков, и сам Бестужев отмечают согласно, что был и у вялого заговорщика Бестужева такой подъем, какой под стать бы стилю пламенного Марлинского. Это случилось с прилетом в Петербург вести о смерти Александра I. «Когда разнесся слух,— рассказывает Боровков,— что Польша с Литвой и Подолией отойдут от России, Бестужев воспыпал неуместным патриотизмом и ожесточился против правительства»<sup>4</sup>.

Для понимания этого «подъема» важно также вспомнить два признания Бестужева Николаю I: «Батенков и я говорили, что мы имеем в это время [т. е. около 14 декабря] на то [т. е. на активное выступление] политическое право, как в чистое междуцарствие». Так мог бы сказать и монархист-легитимист: старая законная власть исчезла, законность новой власти неясна, и право каждого — принять участие в создании действительно законной власти. Второе признание изобличает личные, военно-дворянские, мотивы Бестужева: «Желая блага отечеству, признаюсь, не был я чужд честолюбия. Как исторический дворянин и человек, уча-

<sup>1</sup> Греч. «Записки», стр. 473 и 447.

<sup>2</sup> Вигель. «Записки», т. II, стр. 185.

<sup>3</sup> Н. Котляревский. «Декабристы кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский». СПб., 1907, стр. 122—123.

<sup>4</sup> «А. Д. Боровков и его записки», стр. 340

«ствовавший в перевороте, я [думал, что] могу попасть в правительственную аристократию, которая... произведет постепенное освобождение России... Я считал себя, конечно, не хуже Орловых — времен Екатерины»<sup>1</sup>. Оба эти мотива внезапного «подъема» Бестужева всецело вызваны внезапным наступлением «междоусобия».

После «подъема» всего в три недели [от 27 ноября] Бестужев вышел на Сенатскую площадь. Но что он делал 14 декабря? По «Алфавиту», его революционный актив выразился в том, что он «ходил по ротам Московского полка, возбуждая нижних чинов к мятежу, и грозил пистолетом генерал-майору Фридрихсу и капитану Моллеру», а «на площади он построил карре и отвращал сделанные начальством предложения»<sup>2</sup>. Но этот революционный «актив» Бестужева, не без преувеличения подсчитанный официальным источником, с избытком поглощается таким же его «пассивом», едва ли преувеличенным. Немногие революционные «возбуждал», «грозил», «построил» сполна покрываются многими противомятежническими «отклонил», «уговорил», «удалил», «избавил», «спас»: мало того, что «прежде всего» [прежде 14 декабря] он «отклонил Якубовича и Каховского от покушения на жизнь покойного императора, а также уговорил Каховского отказаться от поручения, возложенного на него вечером 13 декабря, нанести удар ныне царствующему императору», он, уже «во время» самого «возмущения» «удалил генерал-адъютанта Нейдгарта от грозившей ему опасности, избавил от раны генерал-адъютанта Левашова и спас от черни какого-то капитана»<sup>3</sup>. Читая это официальное изображение деятельности А. Бестужева на Сенатской площади, недоумеваешь: с кем же и против кого, собственно, он там был? С декабристами или против декабристов?

Таков был вербовщик Вяземского в три недели своего предельного революционного подъема. Но вербовал он Вяземского не в эти три недели, когда и он и вербуемый были в Петербурге, а раньше и в Москве. Значит, это было в пору его особой «хладности», на которую пеняли ему друзья. Зазывал Вяземского в тайное общество тот его член, который, по собственному признанию, принятому следствием, искал только приличной формы, чтобы оттуда уйти.

Есть одна немаловажная черта, сказавшаяся в вербовке Вяземского Бестужевым не в пользу ее удачи. «Подъем» Бестужева связан был с известием, что «Польша с Литвой и Подолией отойдут от России». При этой весте, признавался Бестужев

<sup>1</sup> А. К. Бороздин «Из писем и показаний декабристов», стр. 42.

<sup>2</sup> «Алфавит декабристов», стр. 35.

<sup>3</sup> «Алфавит декабристов», стр. 35.

Комиссии, «закипела во мне кровь, и неуместный патриотизм возмущил рассудок»<sup>1</sup>, и Бестужев «ожесточился против правительства». Вот где Бестужев, действительно, был задно со многими из влиятельных декабристов!

Про «первого декабриста», Вл. Раевского, его биограф пишет: «Одним из мотивов возникновения в нем оппозиционного настроения было «восстановление» всегда враждебной нам Польши»<sup>2</sup>. «Восстановление Польши в виде королевства, примкнутого к России, противно выгодам обеих земель»,— это положение, по мнению М. С. Лунина, было «доказано» тайным обществом<sup>3</sup>. В специальной статье 1840 года «Взгляд на дела Польши» Лунин писал:

«Может ли Польша пользоваться политическим существованием, соответственно ее потребности, независимо от России? Не более, чем Шотландия и Ирландия независимо от Англии... Если бы несбыточная мечта присоединения русских провинций к Царству Польскому сбылась, дела Польши от этого не выиграли бы... Они [поляки] имеют положительную гарантию неприкосновенности своей территории и уверенность в своем прогрессивном развитии в коренном принципе русского народа, который неизменно стремится сохранять и соединять, и в огромных возможностях к осуществлению этого принципа»<sup>4</sup>.

Католик по вероисповеданию, долго служивший в Польше, Лунин был очень рельефным выразителем мнений декабристов по польскому вопросу. «Донесение Следственной комиссии» признает, что самая мысль о цареубийстве родилась у будущих декабристов именно в связи со слухом того же рода, что всполошил Бестужева: когда в 1817 году Ал. Муравьевым было получено от С. Трубецкого известие, «что государь намерен возвратить Польше все завоеванные нами области, оно «произвело на них [членов тайного общества] действие едва вероятное. Они вскричали, что покушение на жизнь императора есть необходимость... хотели бросить жребий, и, наконец, Якушкин... предложил себя в убийцы». М. И. Муравьев-Апостол, узнав об участии своего брата Сергея в совещаниях с представителями польских тайных обществ, писал ему: «Я еще более недоволен вашими переговорами с поляками... Я первый буду противиться

<sup>1</sup> Довнар-Запольский. «Мемуары декабристов», стр. 124.

<sup>2</sup> П. Щеголев. «Исторические этюды». СПб., 1913, стр. 202.

<sup>3</sup> «Взгляд на русское тайное общество». «Сочинения и письма», стр. 63. Любопытно, что, печатая в 1861 году статью Лунина в «Полярной Звезде», Герцен выпустил это место.

<sup>4</sup> М. Муравьев. «Статья М. С. Лунина „Взгляд на дела Польши“». 1825—1925 г. «Декабристы на каторге и в ссылке». Сборник Ист.-револ. библиотеки журнала «Каторга и Ссылка». М., 1925, стр. 278—279.

тому, чтобы Польша разыгрывала в кости судьбу моей родины»<sup>1</sup>. Когда «в начале 1825 года Бестужев-Рюмин сказал М. Ф. Орлову, «что он открыл сношения с поляками», Орлов с негодованием принял это известие»<sup>2</sup>.

Таким образом, А. А. Бестужев в своем отношении к Польше прочно примыкал к основному ядру северного декабризма, а его «подъем» 1825 года — к антипольскому энтузиазму царевубийц 1817 года из Союза Благоденствия.

Мнения Вяземского были противоположны. Даже в пору польского восстания 1830 года он продолжал их высказывать: «При первой войне, при первом движении в России Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке... Польское дело — такая болезнь, что показала нам порок нашего сложения. Мало того, что излечить болезнь, должно искоренить порок. Какая выгода России быть внутренним стражем Польши?»<sup>3</sup>. Польша должна быть отделена от России. Вряд ли эта противоположность взглядов Бестужева и Вяземского на польский вопрос способствовала успеху вербовки. Один из сильных противоположительных доводов Бестужева, что правительство идет на отделение Польши от России, был в глазах Вяземского скорее доводом против тайного общества: он ведь и в опалу попал за то, что упрекал правительство Александра I за превращение конституционного государства Польши в захудалую русскую губернию.

Бестужев едва ли подходил в вербовщики Вяземского<sup>4</sup>. Другой вербовщик, А. И. Якубович, подходил еще менее. У нас нет данных о какой-либо близости его к Вяземскому. За участие в дуэли гр. А. П. Завадовского с В. В. Шереметевым он был еще в 1818 году переведен на Кавказ и пробыл там до 1825 года. Лишь в июле этого года Якубович приехал в Петербург. Встречи его с Вяземским до 1818 года были мимолетны и бесследны. Якубович «членом Общества не был, но о его существовании и о всех мерах его знал с 27 ноября 1825 года»<sup>5</sup>, т. е. уже после свидания с Вяземским. Не будучи членом тайного общества, как мог он звать туда Вяземского? Не член Общества, Якубович помышлял из личных мотивов о царевубийстве: не в царевубийцы же мог вербовать умеренного Вяземского романтический

<sup>1</sup> «Декабрист М. И. Муравьев-Апостол», стр. 81. Письмо от 3 ноября 1824 г.

<sup>2</sup> «Алфавит декабристов», стр. 142.

<sup>3</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 156—157.

<sup>4</sup> Дружескую приязнь к Бестужеву Вяземский сохранил навсегда и не скрывал ее и после 1825 года: уже в 1829 году, в год, политически тревожный для самого Вяземского, он напечатал в «Северных Цветах» «Послание к А. А. Б.», — всякий причастный к литературе человек знал, что этот «А. А. Б.» — осужденный декабрист.

<sup>5</sup> «Алфавит декабристов», стр. 216.

«режиссида»! Менее всех годился Якубович в агитаторы за тайное общество, как за политическую партию с определенной программой и тактикой. Ни той, ни другой не было у него самого: политически это был человек «без руля и без ветрил», как вскорости показало его поведение перед 14 декабря и в самый этот день. Он то рвался в царубийцы, то, по словам «Алфавита», «сам не брался за сие»; он то «предлагал позволить солдатам и черни разбить кабаки, вынести из какой-нибудь церкви хоругви и итти ко дворцу», то, призванный заговорщиками «начальствовать над Твардейским экипажем», «раскаившись, отказался от сего». На Сенатской площади, «пришед туда с ротами Московского полка, пробыв с мятежниками недолго и представился с раскаянием государю императору». Якубович скорее годился в герои будущих произведений Марлинского, чем в политические ассистенты к Бестужеву: так был он неустойчив политически. Вероятно, он и был только случайным спутником своего приятеля Бестужева при посещении Вяземского.

Из содержания беседы мы знаем, что в ней «разговор коснулся немцев в России». Это была одна из любимых тем разговоров в тайном и не в тайном русском обществе 20-х годов. В глазах многих декабристов, борьба с реакционными правительствующими немцами Павлова и Александрова набора была революционным делом. Влад. Раевский «питал ненависть к немцам»<sup>1</sup>. Легальный декабрист Чацкий выражал пожелание:

Чтоб умный, добрый наш народ  
Хотя по языку нас не считал за немцев!

Сам Бестужев вместе с Рылеевым сочинил песню, широко распевавшуюся не в одном кругу декабристов:

Царь наш немец прусский  
Носит мундир русский,—  
Ай да царь, ай да царь,  
Православный государь!<sup>2</sup>

Мнение, что Александр I предпочитает иностранцев, и особенно немцев, русским, искавшее основания в том, что он, «когда только мог, вырывался из любезного отечества и колесил по Европе»<sup>3</sup>, было общим у декабристов. Засилие правительствующих больших и малых немцев было одною из причин для выступления против правительства<sup>4</sup>. Бестужев признавался Николаю I,

<sup>1</sup> Щеголев. «Исторические этюды», стр. 202.

<sup>2</sup> «Полное собрание стихотворений К. Ф. Рыльева». Лейпциг, 1866, стр. 335.

<sup>3</sup> Греч. «Записки», стр. 452.

<sup>4</sup> «Главные места в государстве вверены иностранцам, не имеющим никакого права на доверие народное», — жаловался М. С. Лунин в «Розыске историческом» («Сочинения и письма», стр. 82).

что при перевороте «думали основаться вообще на правах народных, и в особенности на затерянных русских»<sup>1</sup>. «Немцы даже терпению нас не выучили», — высказывался Бестужев, нападая на немецкое влияние в русской литературе и «даже Жуковскому не прощая его любви к немцам», — «если на что они повлияли, то разве только на политику» — повлияли, конечно, в отрицательном смысле<sup>2</sup>.

«Немцы» в политике и литературе, таким образом, были темою декабристов, но это не была тема Вяземского — космополита и европейца 20-х годов. Националистические идеи «молодой России» были ему чужды. «Разговоры о немцах», — все равно: литературные ли à la Кюхельбекер, или политические à la Бестужев, — не могли не казаться арзамасцу и западнику «lieux communs» — общими местами — гостиных. Недаром и Чацкий казался ему несносен: чересчур охотлив и отзывчив на эти «общие места» разговоров 20-х годов. Бестужев и его случайный дублер Якубович не могли у Вяземского иметь никакого успеха в роли Чацкого.

Рассказывая о неуспехе вербовщиков, Вяземский признается, что «твердое отражение» он дал самой идее тайного общества: «карбонарий» не признал права бытия за обществом карбонариев, «якобинец» отрицал законность идеи клуба якобинцев. Почему это так?

Тут, очевидно, лежит ответ на вопрос: почему Вяземский не сделался членом тайного общества?

## 5

Изучая политические высказывания Вяземского 20-х годов, нельзя не поражаться одним противоречием.

Его нападки на правительство и вылазки против власти, начиная с царя, — всегда резки, ярки, смелы, язвительны. Можно собрать такую антологию антиправительственных вылазок Вяземского в стихах и прозе, которую отнюдь не ослепила бы яркостью такая же антология из Пушкина, Грибоедова, из Рылеева и других декабристов. Она жалила бы не только правительство Александра-Аракчеева, но и общество, сносящее его гнет. Чего стоит хотя бы одна его заметка из записной книжки, начатой в 1813 году: «Я всегда люблю в многолюдном обществе допрашивать спины предстоящих: которые из них подались бы на палки? И всегда пугаюсь числом моих изысканий»<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Бороздин. «Из писем и показаний декабристов», стр. 40.

<sup>2</sup> Н. Котляревский «Декабристы кн. А. И. Одоевский и А. А. Бестужев-Марлинский», СПб., 1907, стр. 331—332.

<sup>3</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 31.

Эта резкость нападения на правительство заставила декабристов адресоваться к Вяземскому, как к своему человеку. Они в этом ошиблись, и ошибка была бы ярче обнаружена, если бы вербовали его не Бестужев с Якубовичем, а Рылеев с Пушкиным. Резкости антиправительственных высказываний Вяземского не отвечала умеренность его политических идей и вожделений. Декабристы, предъявив ему крупные ассигнации его поэтико-политической словесности, ждали, что он оплатит их полным золотом политической активности, участием в политической организации. От этого он наотрез отказался. Произошло недоразумение: участвовать в противоправительственном обществе предлагали противнику антиправительственных действий и тем паче — организаций, своеобразному легитимисту-конституционалисту.

Вяземский отлично определил ту позицию, которую он занимал с 1821 года: «кончилось мое служебное поприще, и началось мое опальное». То, что с ним тогда случилось, он воспринял как «опалу», наложенную верховной властью. Старомосковский боярский термин точно выражал отношения Вяземского с правительством после 1821 года. «Царь» — пусть это был воспитанник республиканца Лагарпа — «сказал» своему слуге, князю Вяземскому, «опалу», и князь Вяземский поступил так, как поступил бы его предок, служивший Алексею Михайловичу или Ивану IV: удалился в свою вотчину и жил там, пока другому «царю» не было угодно, «сняв опалу», «сказать» ему другую службу. Опальный боярин, конечно, — не довольный человек: с его уст сорвется не одно гневное слово, не один язвительный выпад. Но как бы ни был крепок этот укор, он не заставит опального боярина, собрав единоопальных, присоединить к ним недовольных людей другого чина и достатка и двинуться против «царя». «Опала» — всегда политическая пассивность: действий опального изгнанника не бывает, зато слов бывает много, и иногда они могут отягчить и удлинить бремя и время опалы.

Совершенно так было с Вяземским. Его аристократическое фрондерство хорошо было обеспечено независимым крупным состоянием, заключавшимся в далеко еще не растроченном богатстве его наследственных вотчин. Вяземский материально не нуждался в государственной службе, служил в Польше только «из чести», и точно так же не нуждался в литературном заработке. Пушкин сознавал социальное различие между собою, обедневшим дворянином, и крупнопоместным Вяземским, когда писал ему про себя: «Должно смотреть на поэзию, как на ремесло... Аристократические предубеждения пристали тебе, но не мне»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Письмо от конца декабря 1822 — начала января 1823 года Пушкин Письма, под ред. Б. Л. Модзалевского, т. I. Л., 1926, стр. 42.

«Прогнанный» из Варшавы, Вяземский с гордостью «неслужилого», независимого поместного феодала писал «служилому» А. И. Тургеневу: «Неужели считаешь меня больным от неудачи по службе? Клянусь тебе честью, что предложи мне теперь первое место в государстве или приятнейшее по вкусам моим, при нынешнем положении дел, которого не одобряю, отказался бы я от всего без малейшего усилия». И еще резче: «Тебе ли говорить о моей грязи! Не спорю: и я в грязи, да в той, которую называли французы «*notre patrie*». Но ваша грязь [государственно-политическая неволя «служилых» людей] есть грязь искусственная; вам дарованы на нее привилегии исключительные»<sup>1</sup>.

На прочной поместной базе,—подкрепляемой крепостной суконной фабрикой, поставлявшей на казну,—аристократическое фрондерство Вяземского было достаточно независимо и могло изобиловать острыми словами, широко расходившимися из его наследственного гнезда, но оно не выражалось и не могло выражаться ни в каких действиях. К действиям Вяземский вообще не признавал себя способным: «Я не мог бы нигде быть правителем. У меня много решимости в предначертании плана, но в самую минуту эту чувствую, что недостает силы, чтобы поддержать исполнение одного»<sup>2</sup>.

Тем менее был способен он к действиям антиправительственным. Аристократический конституционализм его был искренен. В записке 1829 года он признается в нем пред Николаем I и Константином, как в своем неотменном убеждении. Деятельностью своей до 1821 года он сделал немало для укрепления идеи конституционализма в России. Но конституционализм Вяземского всегда был убеждением участника и сторонника определенной правительственной системы, а не воинствующим *сredo* представителя определенного политического воззрения, организуя своих последователей в борющуюся политическую партию. И когда правительство отказалось от самых минимальных попыток конституционализма и даже запечатало заявления свои по этому поводу, Вяземский, сойдя с арены общественного действия, считал возможным напомнить правительству об этих идеях не оружием политического заговора, а лишь едкими выпадами опального боярина.

Различие между позицией Вяземского и других «фрондеров»-аристократов и позицией декабристов-заговорщиков превосходно определил сам Николай I. Когда 15 февраля 1826 года цесаревич Константин счел нужным напомнить Николаю I о связи, существовавшей между либеральными «обещаниями» и заявлениями

<sup>1</sup> Письма от 20 сентября и 1 октября 1823 года. «Остаф. архив», т. II, стр. 353 и 349.

<sup>2</sup> Запись 3 октября 1830 г. Полн. собр. соч., т. IX, стр. 141.

Александра I и революционным делом, за которое новый император готовился судить декабристов, Николай I отрезал на это Константиину: «Между тем, чтобы желать чего-либо почти обещанного (*une chose presque promise*), и тем, чтобы предупредить (*prevenir*) правительство в его мероприятиях тайными и, следовательно, преступными способами — разница громадная»<sup>1</sup>.

Вместе с будущими декабристами Вяземский «желал обещанного» («почти», вставленное Николаем I, надо зачеркнуть: уже польская речь Александра I содержала прямое обещание конституции для России), — тут между ними не было различия. Различие, острое, как противоположность, обнаружилось тогда, когда правительство запомнило даже самый факт обещания. Вяземский продолжал только «желать обещанного», не без горячности сердясь на запомнивших. Этого было достаточно, чтобы начать «опальное поприще» в удобном, наполненном книгами Остафьеве, но этого было мало, чтобы начать поприще революционное. Чтобы его начать, нужно было именно «предупредить правительство в его мероприятиях тайными и, следовательно, преступными способами». Николай I прав: «разница» здесь, действительно, велика: это — разница между спокойным опальным житьем в собственном Остафьеве и каторгой в Петровском заводе.

«Декабризм» — как политическая действительность — тем и отличен от более широкого «либерализма» Александровской эпохи, что он сперва «желал» и «ждал» вместе с ним, но разуверившись в пользе «просить», решил просто «потребовать», а затем, последовательно, перешел на «взять», на «вырвать», и кончил полным отрицанием той инстанции, у которой можно ждать, просить, требовать — отрицанием монархизма.

Неуспех вербовки Вяземского этим был предопределен. Его оппозиционизм богатого, неслужащего, поместного аристократа навсегда остановился на «желать» и «ждать». То самое правительствующее «аракчеевство», которое заставило более живые ручьи дворянско-буржуазного либерализма слиться в короткий, но шумный поток, пролившийся 14 декабря на Сенатской площади, вызвало в Вяземском лишь презрительно-насмешливую отчужденность. «Мне не хочется иметь никакого прямого сношения с беями и деями»<sup>2</sup>, — говорил он приятелю. Из опального вотчинного уединения естественный выход был не на Сенатскую площадь, а в аристократическую фрондирующую говорильню Москвы, — там была:

<sup>1</sup> Подчеркнуто самим Николаем I. Центрархив. «Междущарствие», стр. 189—190. Письмо от 20 февраля 1826 г.

<sup>2</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 221.

В палате Английского клуба  
Народных заседаний проба...<sup>1</sup>

за гурьевской кашей и шампанским. Этим выходом Вяземский пользовался охотно и не без ярких приобретений для остроушной «Вяземскианы». Но как бы ни были остры и игристы алмазы этой «Вяземскианы», как бы ни протягивались за ними руки тех, кто впоследствии стрелял на Сенатской площади, — их собственник всегда оставался в правительственной черте. Для него невозможно было самое участие в политической организации, противопоставляющей себя правительству. Тайное общество, в его мнении, предопределяло явное и насильственное выступление против правительства<sup>2</sup>.

Через полвека, обсуждая степень участия в тайном обществе Н. И. Тургенева и соглашаясь с теми, кто не разделял убеждения в невинности Тургенева, Вяземский, однако, с горячностью утверждал: «Он [Н. Тургенев] не был бы на Сенатской площади 14 декабря. Сослуживец и приятель государственного прусского мужа Штейна, он мог бы с ним участвовать в упованиях тайных и стремлениях какого-нибудь Tugendbund'a, но всегда был бы противен понятиям его, чувствам и привычкам всякий уличный бунт»<sup>3</sup>.

Это — суждение «от себя» и потому может быть принято за суждение о себе, с тою только поправкой, что злой остро-словец Вяземский не был бы, конечно, и в политико-сентиментальном Tugendbund'e.

В истории вербовки Вяземского есть еще одна любопытная деталь. Почему вербовать его был «командирован» вызывавший нарекания своих сотоварищей А. Бестужев, а не кто-нибудь из декабристов основного кадра, которые не хуже его знали Вяземского, но крепче его стояли на дороге декабря? Пригодными вербовщиками могли бы быть Н. И. Тургенев и И. И. Пущин, и особенно Никита Муравьев. Как раз в сентябре 1825 го-

<sup>1</sup> Два стиха Пушкина, из черновых вариантов «Путешествия Онегина». Сочинения Пушкина, т. IV, изд. Гос. изд., 1930, стр. 219.

<sup>2</sup> Любопытно вспомнить здесь декабриста Штейнгеля. Он обсуждал, с пером в руках, конституцию Н. Муравьева. «Статья 32-я, которая разрешает гражданам составлять всякого рода политические общества, вызывает краткое замечание критика: «Общества, но не тайные. Тайные все вредны». Это мнение несколько не удивительно в устах члена тайного общества: ту же двойственность мы встречаем в пространных рассуждениях Штейнгеля, который стремление к перевороту соединял с боязью насильственных мер, а либеральную идеологию — с жалобами на вред польномыслия» (Н. Дружинин. «Конституция Никиты Муравьева». Сб. «Декабристы и их время», т. I, М., 1927, стр. 73—74). Штейнгель был представителем буржуазно-дворянских чаяний среди декабристов, с ударением на первых; тем естественнее было такое отношение к тайным обществам у представителя богатой, земельной, аристократической фронды, каким был Вяземский.

<sup>3</sup> «По поводу бумаг Жуковского». «Русс. Архив», 1876 г., кн. 2, стр. 259.

да он приехал в Москву и действовал там в пользу правого конституционно-монархического крыла декабризма. «Плану террористического акта», предложенному Якубовичем, Муравьев противопоставлял «план массовой политической пропаганды, которая должна была опираться на составленный им конституционный проект и завершиться его обнародованием». «В Москве Муравьев постарался увидеться со всеми членами тайного общества, посетил Орлова, вызвал из Клина Фонвизина, выступил с докладом на общем собрании Управы. Вопрос о предложении Якубовича подвергся оживленному обсуждению: мнения москвичей вполне совпали с точкой зрения Никиты Муравьева»<sup>1</sup>. Вот кому бы и вербовать Вяземского! Муравьев был давний его приятель; по своим политическим воззрениям он был близок к Вяземскому; в Москве виделся он с приятелями Вяземского — Орловым и Пушкиным, — несомненно, виделся и с ним. Правая группа тайного общества нуждалась в это время в новых, влиятельных членах. Все условия для вербовки Вяземского Муравьевым были налицо. Однако Муравьев его не вербовал, а вербовал Бестужева, хорошо знавший только поэта Вяземского, и «режисера» Якубовича, почти совсем его не знавший. Отчего? Вероятно, именно оттого, что Н. Муравьев хорошо его знал, а те — знали плохо.

Осведомитель Бенкендорфа в 1827 году подсказывает тут какое-то уточнение ответа: заговорщики, говорит он, «чуждались его [Вяземского] единственно по его бесхарактерности»<sup>2</sup>. Приведенное выше свидетельство Вяземского о себе, как о практическом деятеле, удостоверяет эту «бесхарактерность», найденную в нем доносчиком и примеченную, по его словам, декабристами. Такие подлинные политические деятели, как Н. Тургенев, И. Пущин, Н. Муравьев, зная эту «бесхарактерность» Вяземского, т. е. отсутствие в нем характера политического борца, должны были знать, что тот, кто расценивал и переживал свою оппозицию только как опалу, не может быть членом политического общества, видящего свою оппозицию в подготовке прямого противления правительству с оружием в руках. Оттого те, кто лучше знал Вяземского и глубже вошел в дело декабризма, и не были его вербовщиками.

В старости, объясняя, почему Пушкин не попал в декабристы, Вяземский писал: «Он любил чистую свободу, как любить ее должно, но из того не следует, чтобы каждый свободолюбивый человек был непременно и готовым революционером. Политические сектаторы 20-х годов очень это чувствовали, многие из них были приятелями его. они не находили в нем готового соумы-

<sup>1</sup> Н. М. Дружинин. «Конституция Н. Муравьева», стр. 85.

<sup>2</sup> «Русск. Старина», 1903 г., № 2, стр. 260.

шленника и оставили его в покое»<sup>1</sup>. Все это вполне приложимо к самому Вяземскому.

В характере Вяземского была еще одна черта, удерживавшая от его вербовки людей, знавших его лучше Бестужева, — черта, очень ценная в критике и эпиграмматисте, и скорее отрицательная в политическом деятеле: его скептицизм, тот «язвительный ум», который отмечал в нем Пушкин. Мы знаем немало отзывов Вяземского о декабристах, и все они сделаны скептиком, невером в революцию, — и это не скепсис *post factum*: невером Вяземский стал не после неудачи на Сенатской площади, а наоборот, его неверие предвидело эту неудачу. Легко можно представить на Сенатской площади не только мятущегося с пистолетом штатского Кюхельбекера, но и штатского Пушкина, но ни Грибоедов, ни Вяземский на ней непредставимы. В них было столько скепсиса не только направо, на правительство, но и налево, на революцию (это и есть основное свойство скепсиса — всегда быть устремленным в сюду), что в них жил, на ряду с презрительным негодованием направо, еще и сознательный полуукор налево:

О, жертвы мысли безрассудной!  
Вы упали, может быть,  
Что станет вашей крови скудной,  
Чтоб льдистый полюс растопить!

Этот тютчевский укор декабристам, продиктованный сожалительным уважением к ним и вместе острым скепсисом ко всему их замыслу, звучит во всех высказываниях Вяземского о декабристах, даже в таких единственных читателем которых намечался и был сам автор. Наедине с собою Вяземский думал о декабрьском деле и его зачинателях то же, что в «Исповеди», предназначенной для Николая I. в полуофициальном письме к Уварову, или в предсмертных бумагах товарища министра в отставке, или даже во сне (см. далее). Всюду и всегда — это суждение политического скептика и невера.

Служебное и опальное поприще Вяземского сделало его сознательным невером в силу и пользу политического протеста в России. Приведенное четверостишие Тютчева могло бы служить эпиграфом к письму Вяземского к Пушкину от 28 августа 1825 года, в котором он учил поэта терпеливому перенесению михайловской опалы, делаясь с ним опытом своей четырехлетней опалы оstarфьевской. Письмо это — типичный увет человека, потерявшего даже и скудную веру в возможность политического обновления России и заранее убежденного в бесплодности общественных попыток добиться его.

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. I, стр. 322

«Покорись силе обстоятельств и времени, — учит Вяземский Пушкина — Ты ли один терпишь, и на тебе ли одном обрушилось бремя невзгод, сопряженных с настоящим положением не только нашим, но и европейским. Ты сажал цветы, не сообразаясь с климатом. Мороз сделал свое, вот и все... Ты любишься в гонении: у нас оно, как и авторское ремесло, еще не есть почетное звание, се n'est même pas du tout un état. Оно — звание только для немногих; для народа оно не существует. Гонение придает державную власть гонимому только там, где господствуют два раскола общественного мнения. У нас везде господствует одна православная церковь... Хоть будь ты в калдаках... их звук не разбудит ни одной новой мысли в толпе, в народе, который у нас мало чуток.. Оппозиция у нас — бесплодная и пустое ремесло во всех отношениях... Она может быть домашним рукоделием про себя и в честь своих пенатов, если набожная душа отречься от нее не может, из промыслом ей быть нельзя. Она не в цене у народа. Поверь, что о тебе помнят по твоим поэмам, но об опале твоей в год и двух раз не говорят. Не ты один на черной доске у судьбы: есть тоже имена честные, но так как они не подписываются в журналах, то их давно уже нет в помине. Нет сомнения, что немилость не дает у нас известности»<sup>1</sup>.

Несомненно, за такого скептика и невера знали Вяземского его друзья декабристы. Этот тон политической усмешки сквозит и в письмах его к А. И. Тургеневу, сопровождавших посылку «Негодования», а может быть, и копии «Уставной грамоты». Все это не укрепляло веры основных заговорщиков в удачу вербовки Вяземского. Вербовочная разведка Бестужева, предпринятая на основании оппозиционной репутации Вяземского-поэта, конституционалиста и опального фрондера, действительно и показала, что есть еще больше оснований — никогда не числить Вяземского в политических заговорщиках.

Когда наступило 14 декабря, Вяземский, последовательно оказался другом декабристов, но не декабрьского движения. Странник декабрьских идей (в их правой редакции), но не действий, он оставался верноподданным императора, не считая себя обязанным быть читателем Николая I и его действий. «Стансов» Николаю I, в роде тех, которые написал другой друг декабристов — Пушкин, Вяземский не мог бы написать. Они как бы поменялись чувствами: то, что чувствовал Пушкин к Александру I, презрительную нелюбовь, Вяземский испытывал к Николаю I. Александр I был для него — победитель Наполеона, европеец, человек хорошего политического тона, монарх-конституционалист, хотя и непоследовательный и даже сбившийся с пути. Николай I, наоборот, был для него монарх-рагвэцу, властитель дурного тона, «мундир, один мундир», Скалозуб на престоле, но, в отличие от грибоедовского, даже не сидевший с братом в траншее 1812 года<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Переписка Пушкина, под ред. В. И. Саитова. СПб., изд. Академии Наук, т. I, стр. 279—281.

<sup>2</sup> Противопоставление двух эпох Александра I и Николая I у Вяземского всегда ярко и язвительно. Прочтя в 1831 году «Русскую песнь на взятие Варшавы» Жуковского, вызванную победой Николая I над польской ре-

Пушкин уже в декабре 1826 года нашел для себя возможным писать стихи в честь Николая I. Вяземский решился обратиться со стихами к Николаю I лишь в 1854 году, в эпоху крымской войны, когда принудил себя дать перевес «патриотическим чувствам» над долголетней антипатией к личности Николая I. Но о самом Николае I, о его политических способностях и пр. Вяземский и тут оставался при особом мнении, мало разнившимся от того, какое имел он в 1825 году<sup>1</sup>.

14 декабря 1825 года Вяземский был в Петербурге. У нас нет сведений, как провел он этот день, но то, что сделал он вечером, свидетельствует, что он был верным другом декабристов.

«Вечером 14 декабря, — повествует Н. М. Дружинин, — после разгрома на Сенатской площади, к И. И. Пушкину приехал один из его друзей, П. А. Вяземский... Находясь под свежим впечатлением событий и предвидя неизбежный арест Пушкина, Вяземский предложил приятелю сожечь у себя наиболее ценные бумаги Пушкина охотно принял дружеское предложение и передал Вяземскому запертый портфель, в котором находились стихотворения Пушкина и Дельвига, неизданные сочинения Рылея и текст конституции Н. Муравьева. На следующее утро Пушкин был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, пережил следствие и суд, смертный приговор и последующую ссылку в Сибирь. Осенью 1856 года Пушкин был амнистирован.. Портфель, пролежавший замкнутым 32 года, вернулся, наконец, к своему владельцу»<sup>2</sup>.

Имя Вяземского не упомянуто в «Следственном деле» о декабристах, нет его и в «Алфавите декабристов»: Вяземского нет в «разряде оставленных без внимания», где значились — из писателей — его знакомцы Дельвиг, Катенин, Раич, А. Родзянко, Чаадаев, ни в «разряде вполне оправданных», где были Грибоедов и О. Сомов. Имя Вяземского не названо ни одним из при-

волюцией 1830—31 года, Вяземский писал: «Стихи Жуковского — это вопрос жизни и смерти между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочел бы им смерть. Охота была ему писать и не ельные стихи! Не совестно ли сравнивать нынешние события с Бородиним? Там мы бились один против десяти, а здесь десять против одного. Мы ужасные самохвалы, и в нашем самохвальстве есть какой-то холопский отсед» (цитирую по «Старой записной книжке» в изд. 1929 г., стр. 96).

<sup>1</sup> Откликаясь в своем дневнике 1854 же года на один из отзывов французского правительства по поводу манифеста Николая I, Вяземский писал: «Таким образом, Наполеон говорит, что император Николай лжет. «Mou-teh» не простой журнал, а официальный орган французского правительства. Опровергается здесь не рота, не депеша Нессельроде, а манифест, т. е. собственные слова государя. Тут нет обиняков, двусмысленностей, а просто ответ одного царя другому царю: «Неправда». И после этого Киселев [русский посланник] остается в Париже, еще, может быть, поелот охотиться в Фонтенебло. До чего мы дожили!» (Полн. собр. соч., т. X, стр. 80).

<sup>2</sup> Сведения Н. М. Дружинина основаны на вполне бесспорном сообщении Е. И. и В. Е. Якушкиных, идущем от самого И. И. Пушкина. См. Н. Дружинин, «Конституция Никиты Муравьева». Сб. «Декабристы и их время». т. I, М., 1926, стр. 67—68.

влекавшихся по делу, среди коих были М. Ф. Орлов, Пушкин, целый выводок Муравьевых, шурин Вяземского кн. Ф. Ф. Гагарин. Декабристы в своих показаниях не страдали молчаливостью, и такое умалчание о Вяземском не может быть объяснено только тем, что они сознательно воздерживались запутывать в дело его имя — известного поэта и критика. Имя А. С. Пушкина также не попало в «Алфавит», но в показаниях декабристов оно встречается часто, несмотря не то, что умалчивать о декабристском уклоне поэта было заботой многих заговорщиков. Если бы даже существовала такая забота и об опальном Вяземском, ее было бы недостаточно для объяснения молчания о нем «Следственного дела» и «Алфавита». Молчание это было оттого, что Вяземский действительно не был и не хотел быть членом тайного общества, — в противоположность Пушкину, который не был, но хотел быть членом этого общества.

Вот почему в «Исповеди» 1829 года, целью которой было оспорить его репутацию карбонара и якобинца, Вяземский писал с такой решительностью:

«Сей день [14 декабря], бедственный для России, и эпоха, кроваво им ознаменованная, были страшным судом для дел, мнений и помышлений настоящих и давно прошедших. Мое имя не вписалось в его роковые скрижали. Сколь ни прискорбно мне было, как русскому человеку, торжество невинности моей, купленное ценой бедствий многих сограждан и в числе их некоторых моих приятелей, павших жертвою сей эпохи, но, по крайней мере, я мог, когда отвращал внимание от участи ближних, поздравить себя с лестным очищением своим, совершенным самыми событиями. Мне казалось, что я, в глазах правительства отчаянный крамольник, бывший в приятельской связи с некоторыми из обвиненных и оказавшийся совершенно чуждый соумышления с ними, выиграл решительно мою тяжбу».

Вяземский мог говорить так уверенно потому, что знал от Блудова, автора «Донесения», что имя его, отсутствовавшее в «деле» декабристов, не маячит Николаю I и в «Алфавите».

«Но, по странному противоречию, — продолжает Вяземский, — предубеждение против меня не ослабло и при очевидности истины. Мне известно следующее заключение обо мне «Отсутствие имени его в этом деле, доказывает только, что он был умнее и осторожнее других»<sup>1</sup>.

Через много лет Вяземский открыл, кто был автором этого заключения: «Это сказал Блудову император Николай»<sup>2</sup>.

Решительное признание своего неучастия в тайном обществе Вяземский выразил в «Исповеди» смелым и презрительным жестом в сторону Николая: «Благодарю за высокое мнение о моем уме, но не хочу на него променять сердце и честь... Если я был бы хотя и сокрытым действующим лицом в бедственном

<sup>1</sup> «Исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 96—97.

<sup>2</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 107.

предприятии, то верно был бы налицо в сотовариществе несчастья»<sup>1</sup>.

Для Николая I Вяземский едва ли не навсегда остался невыявленным декабристом. Николай I ошибался, если думал, что Вяземский «умно и осторожно» утаил свое участие в деле декабристов — в их партии, в их организации — в них Вяземский не участвовал. Другое дело — декабризм, как идея, как поэтическая и политическая словесность, декабризм, как особая свежая струя в воздухе эпохи: если бы Николай I это имел в виду в своем заключении Блудову, то был бы прав он, а не Вяземский.

В глубокой старости, просматривая сочинения Пушкина, Вяземский, против одного ярко-оппозиционного отрывка, писанного Пушкиным в 1821 году, в Кишиневе, сделал такую отметку: «Это объясняет запальчивость Пушкина. Хоть он и не принадлежал к заговору, который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере. Все мы более или менее дышали и волновались этим воздухом»<sup>2</sup>.

Вот подлинное самопризнание декабриста без декабря: каким, еще больше Пушкина, был сам Вяземский. Он, действительно, «дышал и волновался воздухом» декабризма, но когда этот воздух сгустился до морозного хмурого тумана в один из дней декабря, на Сенатской площади, перед Зимним дворцом, — воздух этот оказался слишком резким для его легких, изнеженных кабинетным теплом остафьевского камина, и он не был на площади. Он остался декабристом, но без четырнадцатого декабря.

## 6

Следствие и суд над декабристами вызвали в Вяземском такой живой отклик, что, если бы Николай I читал то, что тогда писал Вяземский, он еще уверенней мог бы обвинять его в принадлежности к декабристам.

В июне—июле 1826 года, начав 5-ю записную книжку, Вяземский почти всю ее отдал записям о декабристах, и записи эти такого рода, что вызвали смущение цензуры Александра III, когда «5-я книжка» печаталась в 1884 году в составе IX тома «Полного собрания сочинений Вяземского». Том этот, — как и все собрание, выпускавшееся в маленьком тираже, 650 экземпляров. гр. С. Д. Шереметевым, близким лицом к Александру III, —

<sup>1</sup> «Исповедь». Полн. собр. соч., т. II, стр. 97.

<sup>2</sup> «Старина и Новизна», вып. VIII. М., 1904. стр. 42.

издавался без предварительной цензуры, но был задержан при выходе в свет: цензор потребовал вырезки целого ряда мест. Издатель отстоял перед цензурным комитетом многое из отмеченного цензором Лебедевым к «вырезанию», но четыре места не мог спасти, несмотря на свою издательскую благонадежность и придворную влиятельность: из IX тома их пришлось вырезать и перепечатать соответствующие страницы<sup>1</sup>.

Таким образом, мнения Вяземского о декабристах, высказанные «для себя» еще в 1826 году, оставались и в 1884 году запретными для читателя даже ограниченного, по тиражу, издания. Правительство Александра III ограничилось их вырезкой, — вряд ли ограничилось бы этим правительство Николая I попади в его руки июльский дневник Вяземского.

Ревельским записям в дневнике предшествует письмо Вяземского Жуковскому, посланное из Москвы, когда деятельность Следственной комиссии была уже в самом разгаре. Ни в каком другом письме, ни в какой записи дневника Вяземский не дает столь ясного и обобщенного изображения своего тогдашнего отношения к правительству, декабристам и восстанию 14 декабря, как в этой исповеди Жуковскому, вызванной неизвестным нам письмом последнего, в котором он выражал, очевидно, надежду, что восстание на Сенатской площади и следствие над его участниками переменят «образ мыслей» Вяземского, отведут его в сторону от либерализма и конституционализма. Этот московский пролог к ревельским записям не нуждается ни в каких пояснениях, но, по недостатку места, нуждается, к сожалению, в сокращениях:

«Почему последние происшествия могли бы переменить мой образ мыслей? — спрашивает Вяземский Жуковского — Неужели он основан на Трубецком, Граббе-Горском, Пестеле и проч.? Разве ода Х-остова должна переменить понятие наше о поэзии! Ты в этом случае судишь, как простолюдины знати, которые унижают поэзию, потому что она им кажется ремеслом одних Шаликовых, Хвостовых и что перед судом их близоруким все мешается в одно: и начала, и существенность, и последствия, и злоупотребления. Твердого образа мыслей, одним словом, истины и того, что каждый гочит ет истинною, не собьют побочные стечения, случайные применения, частные противоречия. Чему же удивишься ты, что я, несмотря на безрассудные покуше-

<sup>1</sup> Оба цензорских экземпляра IX тома «Полного собрания сочинений Вяземского», полный и искаленный, хранятся в библиотеке Томского университета. Произведенное мною сравнение обоих экземпляров и обнаружило доселе неизвестные вырезки из записей Вяземского о декабристах. В новом кратком издании «Старой записной книжки», вышедшем год перед А. Гинзбург («К-во писателей», Ленинград, 1929), записи о декабристах приведены по тексту, искащенному цензурой. Цензорский искаженный экземпляр носит пометку: «Вторично. № 1057 10 февраля 1884 г Рассмотрел цензор Лебедев». Пользуюсь случаем благодарить весь персонал (1928—29 гг.) библиотеки Томского университета за щедрую и живую помощь при этой работе. Особенно признателен я ветерану сибирской бабл. о-лессии — Александру Ивановичу Милотичу.

ния многих и даже на преступления некоторых, не отстаю от мнений, в коих по мне была, есть и будет вечная истина. Неужели мне нужно было, чт бы принять эту веру и держаться ее до конца, иметь апостолами своими Якубовича или, если хочешь, даже и Николая Гурженева?..

Не имею в себе... твердого убеждения и истине показаний, выводимых нам Левашевыми, Чернышевскими, qui sont et seraient par out le rebut du genre humain по ничтожеству их умственных и душевных качеств. Я, например, решительно знаю, что Муравьев-Апостол не предавал грабежу и пожару города Васильлова, как то сказано в донесении Гота. Город и жители остались неприкосновенными. К чему же эта добровольная клевета? Муравьев по одному возмущению своему уже поддежит казни, ожидающей государственных преступников. Кажется, довольно было того. Чего же ожидать, на какую достоверность надеяться, когда подобные примеры совершаются в глазах наших? И это известие не уличное, оно почерпнуто из официального источника. Я не верю, не могу верить положительным замыслам о царубийстве. В пылу прений, может быть, одна или две буйные головы указывали на это средство, но оно не было общим и основательным положением Общества. — И послэ того ты дивисься, что я сострадаю жертвам и гнушаюсь даже помышлением быть соучастником их палачей? Все это дело во всех отношениях и последствиях сгадило мне Россию: одна надежда привязывала меня к ней, что покойный государь, рано ли, поздно, возвратится к мыслям, которые он некогда хранил и которые одни в исполнении своем могли упрочить славу его царствования. Теперь плачете о нем одни вы, придворные, а народ молчит, ибо он народного ничего не совершил. Теперь я уже ничего не надеюсь, ибо не верю чудесам. А между тем не знаю, как будет без чуда? Ограниченное число заговорщиков ничего не доказывает, — единомышленников много, а в перспективе десяти или пятнадцати лег валит целое поколение с ним на секурс. Вот что должно постигнуть и затвердить правительство... Изпод земли, в коей оно теперь невидимо, но ощутительно зреет, пробьется грядущее поколение во всеоружии мнений и неминуемости, которое не будет подлежать Следственной комиссии Левашевых, Чернышевых и Гатищевых. Тогда что сделает правительство, опереженное временем и заснувшее на старом календаре?

Как не быть у нас потрясениям и порывам бешенства, когда держат нас в таких тисках, когда не позволяют нам изложения площадных мыслей и запрещают нам малейшее кивание головы, чтобы убедить нас, что у нас на плечах головы не людские, а свинцовые?'

Не говорю уже об англичанах и французах, но разреши нам по крайней мере то, что разрешено у пруссаков, австрийцев и проч. Я охотно верю, что ужаснейшие злодеяства, безрассуднейшие замыслы должны рождаться в головах людей, насильственно и мучительно задержанных. Разве наше положение не насильственное? Разве не согнуты мы в криок? Откройте не без граничное, но просторное поприще для деятельности ума, и ему не нужно оудет бросаться в заговоры, чтобы восстановить в себе свободное кровообращение, без коего делаются в нем судороги.

Доказательство тому, что я не одобрял ни начала, ни средств, кои покушались привести в действие, есть то, что я пишу тебе из Москвы; но достигая причины и, не оправдывая лиц, оправдываю действие, потому что вижу в нем неминуемое следствие бедственной истины. Не буду оправдывать, например, голодного, который, спасаясь от смерти собственной, нанесет ее ближнему, чтобы похитить у него кусок хлеба, но, постигая причину, в душе своей признаюсь, что отчаяние голода должно довести человека до истязания. И если по законам достоин будет наказания один голодный, то по нравственности гораздо большего нарекаяния [первоначально было написано: «наказания»] достоин тот, кто добровольно допустил его до голода...»

Эту отповедь твердого конституционалиста, не приемлющего — слева — революции (хотя и понимающего ее неизбежность), а — справа — еще более не приемлющего и резко осуждающего правительственный застой и реакцию, Вяземский заканчивает замечательным признанием, — как и предыдущие слова, — подтверждающим всю правдивость его утверждения. сказанного Николаю I в «Исповеди» 1829 года, что будь он в какой-либо мере участником тайного общества, он «был бы налицо в сотовариществе несчастья».

«В этом отношении, — пишет он Жуковскому, закончив речь о голодных, — жалею, что чаша Левашева прошла мимо меня и что я не имею случая выгрузить несколько истин, остающихся во мне под спудом. Не думаю, чтобы удалось мне обратить своими речами, но, сказав их вслух тем, кому ведать сие надлежит, я почел бы, что не даром прожил на свете и совершил во возможности подвиг жизни своей»<sup>1</sup>.

На допросе в Следственной комиссии Вяземский хотел продолжать то безнадежное дело политического просвещения русского правительства и его слуг, которое в Варшаве делал он с трибуны своих перлюстрируемых писем.

27 июня 1826 года Вяземский занес в свою книжку:

«Я сегодня читал указ о Шервуде. Правительство превозносит его подвиг и придает его имени в вечное и потомственное владение прозвание верный. Не одобряю этого. Правительство может и должно вознаграждать такие политические добродетели деньгами, но не похвалами, подобающими одним нравственным деяниям. По рассудку оно обязано признагельностью за такую услугу, но по совести не может уважать услужника. Зачем же ханжить и выдавать перед светом черное за белое, доносяжа за спасителя отечества. Если Шервуд и спас его, то он не более как подкупленный гусь. Таких спасителей можно подкупить за сто рублей. Легко найти человека, который из корысти выдаст вам тайну вашего противника. Дают ли гласные, государственные знаки отличия лазутчикам, переметчикам в военное время? Их отличают одними червонцами. Таково положение Шервуда. В его деле нет несколько великодушия, ибо он продавал слабых сильным; нельзя и назвать его подвига верностью, ибо достойное уважения соблюдение верности должно быть сопряжено с пожеотвоаниями. с опасностью. Здесь нет ни того, ни другого. Не сужу лично Шервуда, ибо не знаю его. Не от того ли он верный, что сыграл на верное? Успех заговорщиков был сомнителен. Его успех, выдавая их правительству, был математической очевидности. Довольно и того, что выгоды правительства часто основаны на нравственных непристойностях, чтобы не сказать хуже. но, по крайней мере, пользуйтесь ими во мраке тайной полиции, а не выносите их с наглостью на белый свет и помните, что можно любить измену, но должно презирать всегда изменников. Шервуд вошел ли в заговор добросовестно, или как тать, чтобы наложить на них руку, равно играл он ролю, которую честный человек не хотел бы добровольно принять на себя. Как же правительству объявить всенародно добродетельным подвигом то, чем стал бы гнушаться честный человек. Пожалуй, скажут, что это верх добродетели, род геройского самоотвержения, но в таком случае не переходят в гвардию. Если самоубийство терпимо и понятно, то разве в таком случае, когда долг

<sup>1</sup> «Остаф. архив», т. V, вып. 2. СПб., 1913, стр. 158—161. Разрядка главного Вяземского. Письмо, к сожалению, не имеет даты.

честь и голос совести принуждает вас совершить поступок бесчестный и бессовестный. Такое двусмысленное положение должно непременно разрешить означением беспрекословного бескорыстия. Правительству не должно слишком явно ругаться протосердечием нашим. Довольно и того, что его, и следовательно наша, польза не позволяет ему отплатить презрением и опозорить гласным образом услугу Шервуда. Мы тут видим одну из политических необходимостей, от коих сердце ноет, но перед которыми разум молчит. Но не жалуйте его в герои, а то негодование и честное убеждение совести каждого заглушат голос политической необходимости и падут на вас неотразимо укорюю. Двух нравственностей быть не может: честной<sup>1</sup> и народной. Она все одна. Могут быть две пользы, два образа суждения относительно истин частных и народных или государственных, — это дело другое! На то у вас и деньги, чтобы кормить государственную нравственность. Но берегитесь жаловать гражданственными венцами и Цицероновскими отличиями предателей товарищества, шпионов, доношников. Они навоз общества политического, им пользоваться при случае, но все держишь на заднем дворе и затыкаешь себе нос, когда мимо проходишь. Что скажете вы, если страстно-благодарный агроном в память хорошего урожая, доставленного ему навозом, станет держать его в гостиной, на почетном месте, в богатом хрустальном сосуде и «станет заставлять гостей своих прикладываться к нему?»

Вся эта запись о награждении и прославлении предателя декабристов оказалась сплошь нецензурной и через 58 лет после того, как была сделана, и впервые печатается здесь<sup>2</sup>. Запись ярко отражает то отвращение, которое овладело Вяземским при чтении в «Сенатских Ведомостях» от 12 июня высочайшего указа<sup>3</sup>:

«В ознаменование особенного благоволения нашего и признательности к отличному подвигу, оказанному лейб-гвардии Драгунского полка прапорщиком Иваном Шервудом против злоумышленников, посягавших на спокойствие, благосостояние государства и на самую жизнь блаженныя памяти государя императора Александра I, всемиловитейше повелеваем к нынешней фамилии его прибавить слово: Верный, и впредь как ему, так и потомству его именоваться Шервуд Верный. Правительствующему Сенату поручаем составить приличный для сей фамилии герб и представить оный к нашему утверждению».

Указ возводил провокатора в герои, провокацию объявлял подвигом, завершая серию наград, полученных Шервудом от Николая I: шесть лет маячивший унтером в провинциальном

<sup>1</sup> Так в тексте; очевидно, описка — вместо «частной». Все разрядки при надлежат самому Вяземскому.

<sup>2</sup> Полн. собр. соч., т. IX, 1813—1852 гг. СПб., 1884. Книжка 5 (1826—1831 гг.), стр. 76—78 первого, неискалеченного издания. Во втором издании страницы 75—76 и 77—78 вырваны, и вместо них вклеена одна страница, у коей лицо помечено «75», а на исподне начата «Книжка 5», набранная вновь, без записи 27 июня. Она начинается отрывком: «И. И. Дмитриев бранил меня...» и т. д., за ним идет отрывок: «Июнь 29. Maximes» и пр. После этой исподней страницы, не имеющей пагинации, идет сразу страница 79-я. Таким образом, благодаря вырезке, из книги исчезли страницы 77-я и 78-я.

<sup>3</sup> Указ был дан 1 июня 1826 г. «Санктпетерб. Сенат. Ведомости». 1826 г., № 24

полку, он 8 января 1826 года был переведен в гвардию, через два дня сделан был прапорщиком, а 6 июня произведен в поручики<sup>1</sup>.

Вяземский видел в этом публичном восхвалении провокатора образец небывалого политического бесстыдства Николая I. Но тут был у Николая I не один цинизм, а сознательный расчет и определенный политический ход. Провокаторская услуга Шервуда поставлялась подвигом, отвратившим покушение на «спокойствие, благосостояние государства» — во-первых, «и на самую жизнь блаженных памяти... Александра I» — во-вторых и в главных. Именно за второй «подвиг» Шервуд и объявлялся «Верным» и награждался гербом. Сенат хорошо понял желание Николая и составил «приличный для сей фамилии герб». Вот он, по описанию «Общего гербовника»: «Щит разделен на две части, в верхней, в голубом поле, под российским гербом изображено вензелевое имя блаженных памяти государя императора Александра I в лучах. В нижней части, в красном поле, изображена выходящая из облаков рука, вверх простертая, со сложенными чальцами, как у присяги. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом и короною с тремя страусовыми перьями»<sup>2</sup>. Герб графически повторяет указ, усиливая его смысл: имя Александра I — «в лучах», в небе, как имя «Благословенного», и к этому «блаженному» имени простерта верная присяге рука Верного: дело этой руки так свято, что и рука эта выходит также «из облаков», с высоты неба. Провокация оказывается делом небесным. О Николае I, о Константине, о царской фамилии — ни слова ни в указе, ни в гербе: заговор был только против «Благословенного», — как ужасны, как низки душой, значит, были заговорщики, коль скоро могли злоумышлять на благодетеля России и Европы, и как высок и благороден тот, кто помог разрушить эти ковы!

22 августа Николай I утвердил герб Верного, а до этого подписал ряд правительственных документов, связанных с делом декабристов, где повторил эту удобную для него версию-указку: против кого был направлен заговор декабристов. В тот же день, когда он награждал Шервуда, он подписал манифест об учреждении Верховного уголовного суда над заговорщиками. В нем он заявлял, что сам «перст божий» указал ему после 14 декабря «путь и средства и обязанность нашу, — обязанность, тем более для нас священную, что не во дни державы нашей возникло и не нам лично, но всему

<sup>1</sup> Н. К. Шильдер. «Император Николай I». СПб., 1903, т. I, стр. 450—451.

<sup>2</sup> «Общий гербовник дворянских родов Всероссийския Империи, начатый в 1797 г.». Часть 10-я, утвержденная 3 января 1836 г., 2-е отделение, стр. 120 и обратная.

отечеству созокупно грозило сие бедствие»<sup>1</sup>. Николай I и здесь подчеркнул четко, что сам он — в стороне: заговорщики шли против России и Александра I: «нам лично» ничто не «грозило» на Сенатской площади. В «Манифесте о совершении приговора над государственными преступниками» 13 июля 1826 года Николай I еще раз повторил это «не нам лично»: «Язва была глубока и по самой сокровенности ее опасна. Мысль, что главным ее предметом, первой целью умыслов была жизнь Александра Благословенного, поражала вместе ужасом, омерзением и прискорбием»<sup>2</sup>.

Все эти «отводы» декабрьского нападения от себя на Александра I были давно задуманы Николаем I. Еще в январе он сделал набросок манифеста, с которым тогда же хотел обратиться к народу, с целью вызвать чувство негодования против заговорщиков. «Поверят ли верноподданные Александра — его дети Русские, что божественное провидение с 1817-го по 1825 год трикраты отвратило руку убийцы от Отца Отечества и избавило Россию от срама Царево-Отцеубийства!» — писал сам Николай I в § III. То же повторял он в §§ VII и VIII. «Первый плод в 1817 году был личный заговор на Отца Отечества; нашелся среди нас изверг, сам вызвавшийся поднять руку — на кого? — на Александра Благословенного; но Благословенного сохранила десница божия, да продлит блаженство России, и та же десница сохранила и убийцу, да примет (мечь) через 10 лет достойную казнь». Николай откровенно квалифицирует здесь предстоящий суд над декабристами как «мечь», но, спохватившись, заменяет его, ради политического приличия, словом «казнь». Но и этого ему мало. Он в третий раз «отводит» все декабрьское движение на Александра I: «В сии последние дни нашлись вновь два изверга, один из личной неустойкой злобы, другой осыпанный благодеяниями своего Отца Государя, и оба ждали единственно случая произвести злодеяние над лицом Монарха». Свой проект манифеста Николай I дал на просмотр Сперанскому. Редактор значительно смягчил весь тон манифеста, умерил ссылки на Александра I и грозившую ему гибель и посоветовал не опубликовывать манифеста. Николай I послушался опытного советчика, но от «отвода» на Александра I не отказался: «отвод» свой он последовательно провел через несколько своих актов, сопутствовавших суду над декабристами<sup>3</sup>.

На разные лады утверждая, что «не» ему «лично грозило сие бедствие» декабрьского восстания, Николай I с о з н а т е л ь -

<sup>1</sup> «Полное собрание законов Росс. империи». Собрание 2-е, с 12 декабря 1825 г., т. I. СПб., 1831, № 381, стр. 514—515. Разрядка наша.

<sup>2</sup> Там же, стр. 773

<sup>3</sup> Н. В. Голицын. «Сперанский в Верховном уголовном суде над декабристами». «Русск Историч Журнал», 1917 г., кн 1—2, стр. 64—65, 97—102

но лгал. В собственных своих записках о 14 декабря он писал: «Выехав на площадь, желал я осмотреть, не будет ли возможности, окружив толлу, принудить к сдаче без кровопролития. В это время сделали по мне залп, пули просвистали мне через голову и, к счастью, никого из нас не ранили. Рабочие Исаакиевского собора из-за заборов начали кидать в нас поленьями»<sup>1</sup>. Николай I не мог не помнить показаний Поджио (20 февраля 1826 г.), предлагавшего обе свои руки для устранения Николая I, и Каховского (17 марта), рассказывавшего о намерении убить его; он читал признание А. Бестужева, что Оболенский или Рылеев внесли предложение уничтожить всю царскую фамилию, что то же намерение разделял Пестель, и т. д. 28 апреля 1826 года Николай I писал своей матери, Марии Федоровне: «Рылеев вчера открыл весь свой план относительно 14-го и сознался, что он действительно намеревался всех нас убить»<sup>2</sup>. И тем не менее Николай I упорно заявлял в манифесте, что «не нам лично грозило сие бедствие». Понятно, для чего он лгал: он хотел показать, что он — стороннее, незаинтересованное лицо в деле декабристов. В своем деле он может быть пристрастен в сторону излишней строгости или в сторону неуместной милости, но дело декабристов — не его тяжба с ними: его суд, каков бы он ни был по силе приговора, — нелицеприятный суд. Если же приговор окажется суров, то он будет лишь соответствовать преступности деяния, направленного против того, кого Россия и Европа прозвали «Благословенным». Ход Николая I был ловко задуман. Дальнейшим развертыванием игры было отстранение себя от смертного приговора декабристам. Прозвание и герб Шервуду были картой, выброшенной на стол неглупым игроком, знающим, что он делает.

Вяземский не мог, конечно, сообразить значение этой ловко выброшенной карты для всей игры, но броска была сделана с таким откровенным цинизмом, карту метнули так бесстыдно-уверенно, что нельзя было не признать в этом руки опытного шулера. А признав, нельзя было не задрожать от чувства гадливого отвращения. Этою дрожью преисполнена запись Вяземского.

Можно понять и то, почему цензура внука не пропустила писанного здесь про деда. IX том печатался в конце 1883 года и вышел в феврале 1884 года. «Первое марта» было для внука то же, что «четырнадцатое декабря» для деда. Его тревоги и страхи были уже позади Александр III в феврале 1884 года был то же, что Николай, примерно, в конце 1826 года: «первомартовцы», подобно «четырнадцатидекабrevцам», были одни пове-

<sup>1</sup> Централхив. «Междущарствие...». стр. 27 Разрядка наша.

<sup>2</sup> Там же, стр. 201

шены, другие заключены в крепость, третьи сосланы в Сибирь. Ликвидации народовольцев «Верные» 80-х годов помогали не хуже «Верных» эпохи декабристов. Имя Дегаева стоило имени Шервуда. Но заслуги Дегаевых расценивались уже без романтики «подвигов», без гербов и громких титулов, и было неудобно напоминать, что схожие услуги расценивались полвека назад пышнее и громче: пышность и романтика изобличали слишком неприкровенное бесстыдство оценщиков. В прозаический век роста промышленного капитала удобнее стало расплачиваться не феодальным гербом, а серебряным рублем. Провокация Дегаева стала неожиданно столь громка, что правительство Александра III радо было бы накинуть на нее шапку-невидимку. Сделать этого оно не могло, и потому с особой охотой нахлобучило шапку-невидимку на схожий подвиг Шервуда: он исчез со страниц IX тома Вяземского.

Июль 1826 года Вяземский провел в Ревеле. Там, в портовом городе, изобиловавшем иностранцами, заполучил он старые европейские газеты, миновавшие цензуру, и вычитывал из них с жадностью все, что имело отношение к декабрьскому движению. Из «Le Courier Français» от 25 декабря н. с., вышедшего накануне восстания, выписал он следующую характеристику Александра I:

«L'empereur Alexandre a été entraîné d'enthousiasme en enthousiasme et de culte en culte. De 1803 à 1807 il a eu le culte de Catherine et de son système abandonné sous Paul I; de 1807 à 1811 il a eu le culte de Napoléon, de sa gloire et des ses idées conquérantes; de 1812 à 1815 il a eu avec les Cortès d'Espagne, les étudiants d'Allemagne, les diètes de Pologne et les constitutionnels de France, le culte des principes libéraux, ainsi que l'attestent ses proclamations aux peuples; de 1815 à 1825 il a eu le culte du pouvoir et la Sainte alliance»<sup>1</sup>.

Эта французская характеристика Александра I исчерпывается известными стихами Пушкина:

Таков и был сей властелин —  
К противоречиям привычен,  
В лице и в жизни арлекин.

Вяземский, обычно противоречащий Пушкину, на этот раз почти согласился с ним: «С некоторыми исправлениями, сие разделение было бы довольно верно», и без возражений отметил: «В этой же статье приписывают энтузиастическое расположение Александра родовому расположению отрасли Голстейн-Готторпской». Отметка не без значения: Александр — и Вяземский не возражает против этого — вовсе не царь из дома Романовых. Переменчивые и шаткие «энтузиазмы» Александра приписаны «родовому расположению» его «готторпской отрасли». Но

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 79. Цитаты из этого тома здесь и далее даются по тексту экземпляра, не «исправленного» цензором.

«отрасль» эта до Александра I имела лишь двух представителей на русском престоле — Петра III и Павла I: исторические «энтузиазмы» их — игрушечная стратегия первого, влюбленного в Фридриха II, и мальтийская мания величия второго — еще в XIX веке стали классическими примерами исторической психопатологии: для голстейн-готторпского Александра I было немного чести в том, что в Европе отмечали такое «родовое расположение» его к историческим «энтузиазмам», а Вяземский, лично его знавший, не оспаривал этого мнения Европы. Молчание Вяземского тем примечательней, что другие сообщения он не оставляет без замечаний: «В *Morning-Post* уверяют, что Александр умер насильственной смертью, и к этой сказке припутывают цесаревича, и прогулку по Азовскому морю, и пр., и пр. В *Morning Chronicle* сказано: «Мы слышали несколько времени тому, что рассудок императора Александра был поврежден, но не могли удостовериться в истине этого слуха». Далее выписки прекращаются, а под 9 июлем мы находим уже сердитую отметку: «Смешно читать глупости, которыми наполнены французские ведомости, современные смерти государя»<sup>1</sup>. Молчание и ложь русских газет вынуждали однако Вяземского доискиваться правды в газетах иностранных.

## 7

10 июля Николай I подписал приговор по делу декабристов. В этот же день Вяземский внес в записную книжку отрывок из письма, отправленного им тогда же А. И. Тургеневу в ответ на его письма, доставленные с оказией. В них Тургенев, осведомленный Блудовым, извещал Вяземского, в прикровенной форме, о грозном решении по делу декабристов и о необходимости для Н. И. Тургенева, бывшего за границей и заочно присужденного к смертной казни, остаться вечным изгнанником. Вяземский утешал А. И. Тургенева горьким утешением:

«Не разгадываю их [писем А. И. Тургенева] тайны, но догадываюсь. В самом горе найдешь ты побуждения к утешению, и многие должны еще завидовать тебе. Не романтизируй в своей печали. Мы все изгнанники и на родине. Кто из нас более или менее не пария? А лучше же быть парией под солнцем, чем под дождем и снегом... Такое несчастье — ассигнация: она имеет ход дома, но за границами теряет всю свою цену и делается белой бумагой»<sup>2</sup>.

Подчеркнутые строки Вяземский внес в дневник<sup>3</sup>.

Вскоре после 10 июля попал в руки Вяземского номер *Journal des Débats* от 25 июня. В нем он нашел перевод мани-

<sup>1</sup> Там же, стр. 79.

<sup>2</sup> «Остаф. архив», т. III, стр. 143—144.

<sup>3</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 80.

феста, подписанного Николаем I еще 21 апреля, а обнародованного Сенатом 4 мая: «О ссылке в сибирские губернии на работы в горные заводы финляндских преступников, подпавших по законам оного края смертной казни, но от оной всемилостивейше освобожденных». «С самого начала царствования нашего, — уверяет в нем Николай I, — применение и исполнение Уголовного уложения Великого княжества Финляндского во всех таких случаях, в кои оное уложение определяет смертную казнь, составляло предмет живейшей нашей заботы». Поверить, так с первых строк манифеста и до конца пред нами — речь убежденного противника смертной казни, такого убежденного и горячего, что в манифесте то и дело звучат ноты еле сдерживаемого волнения. Поверить, так «диктует совесть» такие признания царя: «Мы не могли отступить от предназначенного нами самими в совести нашей долга не утверждать никакого, хотя и сообразного с оными законоположениями, смертного приговора, если...» Маленькая оговорка: «если преступление не будет толикой важности, что целию оного было нарушение общего существования [?!], спокойствия государственного, безопасности престола и святости величества». За исключением немногочисленного оговоренного, «мы положили во всех прочих важнейших уголовных делах пользоваться присвоенным нам по коренным законам правом милования, для избавления преступников от смертной казни».

Это — твердое волеизъявление противника смертной казни: право не утверждать смертные приговоры принадлежало-де всем моим предместникам, но никто из них не заявлял наперед, что в с е г д а будет пользоваться этим правом, а я, Николай I, заявляю это заранее. И это — не только акт милосердия человека, но и мудрости правителя: «Мы признали гораздо действительнейшим для сего [для цели невозвращения «злодеев» в общество] важнейших преступников, взамен приговоренной им смертной казни, ссылать в состоящие на восточной стороне Уральского хребта губернии» [царю-гуманисту тяжело даже произнести кандальное слово «Сибирь», — он выражается мягко-описательно: не «Сибирь», а «состоящие на восточной стороне Уральского хребта губернии»]. Лишь в самом конце манифеста стиль оказывается не выдержанным, и какой-то арапчеевец грубо, но зато более точно, повторяет продекларированное карамзинистом: «когда подвергнувшийся [!] по финляндским законам лишению жизни преступник мужского пола будет нами от смертной казни помилован, немедленно отсылать осужденного под строжайшим почетом и надежным образом в отдаленные сибирские губернии в публичные работы на горных заводах»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> «Полное собрание законов». Собрание 2-е, том I, стр. 388—389.

Манифест, прочитанный по-французски, пробудил в Вяземском целую гамму чувств и вопросов.

«В *«Journal des Débats»* 25 июня есть манифест государя о смертной казни в княжестве Финляндском. В переводе он очень неясен». Но манифест кажется Вяземскому столь знаменательным, что он приказывает себе: «Сыскать его в подлиннике». «Существо его в том, что смертная казнь, видимо расточаемая уголовным уложением финляндским, будет в случаях, не касающихся до преступлений государственных, оскорблений величества, *entaché de lèse majesté*», пренебрегаема в ссылку в Сибирь на каторжные работы [читатель Карамзина, Вяземский отлично разгримировывает здесь стиль карамзиниста Николая I: у того нет таких грубых выражений, как «каторжные работы»], — но редакция очень многоречива и запутана». Это — уже зоркое замечание опытного политического редактора. Переплавщик недоношенной российской конституции злобно и едко высмеивает государственный слог полковника Скалозуба на престоле: «Во французском переводе сказано *«Aussitôt qu'un criminel du genre masculin»*. Что это за грамматический преступник? Опечатка ли это, вместо *du sexe masculin*, или просто глупость? <sup>1</sup>. Вообще у нас все официальные бумаги и акты худо переводятся, зато, правда, почти все и худо пишутся» <sup>2</sup>.

Высмеивая язык манифеста, Вяземский подозрительно относится к его «многоречивости и запутанности». «Ссылка в Сибирь не нарушает ли прав финляндцев? В польской конституции именно отъеменяется навсегда кара высылки, *de l'exportation*, и, верно, тут подразумевалась Сибирь». Разбираясь зорко и недоверчиво в тексте манифеста, политический редактор делал вывод: «Если ссылка в Сибирь не нарушение политических прав Финляндии, то к чему и манифест?» Он имел бы смысл, если бы возвещал о том, что было бы крупным законодательным новшеством, но такое новшество, исходящее прямо от монарха, минуя сейм, показывало бы только, что Николай I нарушил конституцию Финляндии. Очевидно, дело было не в этом и не в Финляндии. «И без него — без манифеста — знают, что государь имеет право помилования и облегчения», — замечает Вяземский и тем устраняет смысл манифеста, как гуманного воле-

<sup>1</sup> Выражение манифеста «преступник мужского пола» следовало передать по-французски: «un criminel du sexe masculin», а недостаточно грамотный официальный переводчик (*«Journal des Débats»*) перепечатал текст из официального издания русского министерства иностранных дел, вышедшего на французском языке) передал его: «un criminel du genre masculin», что выходит «преступник мужского рода», так как «genre» означает «род, грамматический род». Отсюда острова Вяземского. «грамматический преступник»

<sup>2</sup> Замечание Вяземского подтверждается отмеченною нами безграмотностью и русского текста манифеста, вошедшего в собрание законов.

изъявления царя против смертной казни, — «если, впрочем, вечная каторга в Сибири похожа на облегчение».

Доселе Вяземский был внимательным и неподатливым читателем манифеста, — в дальнейшем он оказался читателем предугадывающим, мастером политического прогноза.

«Может быть, — предугадывает Вяземский, — это предисловие к постановлениям Верховного суда и род повешения, что государь не почитает себя в праве миловать тех, чьих преступление serait as ez grave pour t. nigr à troubler la tranquillité de l'état (et la sûreté), compromettre l'ordre public, la stabilité du trône, et être entaché de lèse majesté»<sup>1</sup>

«Маленькую» оговорку человеколюбивого противника смертной казни Вяземский принял за центральное место манифеста и истолковал его с предвещательной верностью. Кажется, он один в России (мы, по крайней мере, не знаем других примеров) разгадал Николая I в этом лицемернейшем из его актов, подготавливавших общество к убийству 13 июля. Как в целом ряде актов Николай I не постеснялся публично лгать, что заговор декабристов грозил не ему, а только Александру I и «государству», так, параллельно этому, в целом ряде актов, начиная с финляндского манифеста, выставлял он себя противником смертной казни. Если первое ему было нужно, чтобы, готовя казнь декабристам, показать всем, что он — беспристрастный судья, а не истец в деле декабристов, то второе нужно было для внушения, что суд его милостив, ибо судья — противник жестоких кар, и если они будут применены, то применит их не он, а неоспоримое правосудие.

Приговор Верховного уголовного суда назначал пятерым осужденным «вне разрядов» смертную казнь четвертованием и тридцати одному осужденному по I разряду — «смертную казнь отсечением головы». 10 июля Николай I всем осужденным по I разряду заменил смертную казнь каторгой: двадцати пяти осужденным — вечною, шестерым — на двадцать лет с дальнейшей ссылкой на поселение.

Это был широкий, нарочито рассчитанный жест. России «противник смертной казни» давал больше, чем обещал Финляндии: там, в манифесте, прочитанном, конечно, не одним Вяземским, обещалось неутверждение смертных приговоров лишь в тех случаях, «если преступление не будет толикой важности, что целью оно было нарушение общего существования, спокойствия государственного, безопасности престола и святости величества». Здесь, в деле декабристов, налицо было, по квалификации Верховного суда, как раз «преступление толикой важности» — и тем не менее тридцать один смертный приговор ока-

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 81. Соответствующее, но текстуально не вполне совпадающее место в официальном русском тексте: «будет толикой важности, что целью оно было нарушение общего существования, спокойствия государственного, безопасности престола и святости величества». («Полное собрание законов» Собрание 2-е, т. I, стр. 383).

зался не подписан. Обывателю, читавшему финляндский манифест, оставалось только воскликнуть: «Как свято понимает монарх «предназначенный в его совести долг не утверждать смертные приговоры» — и как великодушно расширяет он свои права в сторону неограниченного милосердия!»

Тридцать один смертный приговор не был утвержден противником смертной казни, но оставалось еще пять смертных приговоров «вне разряда». Были ли подписаны они автором финляндского манифеста? Нет! В указе Верховному суду от 10 июля он писал: «Наконец, участь преступников, здесь непоименованных, кои по тяжести их злодеяний поставлены вне разрядов и вне сравнения с другими, предаю решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится»<sup>1</sup>. Итак, даже этих чрезвычайных преступников венценосный человеколюбец не предает смертной казни, — и если они оказались 13 июля казненными, то это потому, что осудил их на казнь сам суд в «всем свободном решении, и то, «сообразуясь с высокомонаршим милосердием»<sup>2</sup>, казнил их менее жестокой казнью — повешением. Выходит неоспоримо: казнил их суд, а не Николай I. На нем нет крови декабристов. Так и написал сам Николай I накануне казни великому князю Михаилу Павловичу: «Осуждены на казнь не мной, а по воле Верховного суда, которому я предоставил их участь, пять человек»<sup>3</sup>. В самый день казни императрица Александра Федоровна записала в дневнике: «Мой бедный Николай так много перестрадал за эти дни! К счастью, ему не пришлось самому подписывать смертный приговор»<sup>4</sup>. Из этих высказываний с неоспоримостью следует, что в воле Верховного суда было отменить казнь и этим пяти, так как их участь предана была «противником смертной казни» всецело решению независимого суда.

И однако — это была новая ложь Николая I. Осудил их на смертную казнь не Верховный суд, а сам Николай, и задолго до того, как вынесен был приговор. Уже на другой день декабрьского восстания Николай писал Константину: «Страшно сказать, но необходим внушительный пример, и так как в данном случае речь идет об убийцах, то их участь не может быть достаточно сурова»<sup>5</sup>. То же повторил он вскоре после 14 декабря

<sup>1</sup> «Полное собрание законов». Собрание 2-е, т. I, стр. 771—772

<sup>2</sup> Подлинное выражение определения Верховного суда, — там же, стр. 772.

<sup>3</sup> Централхив. «Междцарствие...», стр. 212. Разрядка наша.

<sup>4</sup> Там же, стр. 93. Разрядка наша.

<sup>5</sup> Там же, стр. 147. С Константином Николай I был откровенен, и 4 января 1826 года поделился с ним таким планом: «Я думаю покончить как можно скорее с теми из извергов, которые не имеют никакого значения по тем признаниям, какие они еще могут сделать, но не могут быть поощрены, так как первые подняли руку против своих начальников; таковы Бестужев и Щепин, Московского полка; я думаю, что следует попросту судить их в са-

гр. Лаферронэ: «С жожаками и зачинщиками заговора будет поступлено без жалости, без пощады. Закон изречет кару, и не для них воспользуюсь я правом помилования. Я буду непреклонен; я обязан дать этот урок России и Европе»<sup>1</sup>.

Получив доклад Следственной комиссии, Николай писал Константину (6 июня): «Заседания идут без перерыва с 10 ч. у. до 3 ч. д., и несмотря на это, я еще не знаю, приблизительно и какому числу может кончиться». Еще он не знает, когда кончится суд, но уже знает, каков будет приговор и где будет совершена казнь: «Затем последует казнь, — извещает он цесаревича за месяц до приговора, — ужасный день, о котором я не могу думать без содроганья. Предполагаю произвести ее на эспланаде крепости»<sup>2</sup>.

Когда «доклад» суда был уже в руках Николая, кн. А. Н. Голицын писал Марии Федоровне: «Его величество сказал мне, что он задержит у себя эту бумагу не менее чем на сутки, чтобы обдумать ее и принять решение, затем Верховный суд должен будет собраться и выслушать решение государя и распорядиться с исполнением приговора». Все это «обдумывание» — приличный жест в непристойном деле, и, не чувствуя противоречия между жестом и делом, царедворец тут же повещает императрицу-мать: «В виду всего этого его величество полагает, что смертная казнь состоится лишь 13-го»<sup>3</sup>. В тот же день написал Марии Федоровне и сам Николай; он и тут явился хорошим карамзинистом (благо, мать читала автора «Бедной Лизы»): «Я получил сегодня утром доклад Верховного суда; он был хорошо составлен и дал мне возможность воспользоваться моим правом убавить немного степень наказания за исключением пяти»<sup>4</sup>. Более прозаически это звучит так: «Доклад нарочно был составлен с «большим запросом» в наказаниях, и это дало мне возможность сделать небольшую скидку всем, кроме пяти».

«Я отстраняю от себя всякий смертный приговор, — пишет далее мягкосердый карамзинист, месяц назад произнесший его в письме к Константину, — и участь этих пяти наиболее презренных предоставляю решению суда», решив уже ее даже до той подробности, где будет произведена казнь. Почтительный сын и брат не мог не вспомнить еще раз и «Благословенного»: «Это был для

---

мом полку, и притом в 24 часа, только за самый факт, и казнить их посредством солдат, выбранных из самого полка; Оболенский.. должен иметь ту же участь», но казнь его должна быть отсрочена, так как он нужен еще для очных ставок («Сборник Имп. Русск. Историч. Об-ва», т. СХХVІ, стр. 25. Цитирую по «Русск. Историч. Жвнл», 1917 г., кн. 1—2, стр. 69).

<sup>1</sup> Шильдер. «Николай I», т. I, стр. 453—454.

<sup>2</sup> Централархив. «Междуцарствие...». стр. 196.

<sup>3</sup> Там же, стр. 196.

<sup>4</sup> Там же, стр. 228.

меня тяжелый день, и, проходя через комнату нашего ангела [Александра I], я сказал себе, что это я за него выполняю этот ужасный долг». Опять, как в указе о Шервуде и других актах, та же ложь: «Я — в стороне. Заговор был против Александра. Я — только неумытныи судья по необходимости». Великолепная последовательность актера, не очень талантливого, но хорошо и упорно усвоившего себе свою роль: пред кем бы ни играл он ее — перед пестрым ранком читателей «Сенатских Ведомостей» и «Северной Пчелы», или перед уединенной ложей вдовствующей императрицы, он играет ее в одном и том же, верном тоне. И только однажды, в самом конце письма, он спал с этого тона: забыв о том, что за минугу продекларировал об «отстранении от себя всякого смертного приговора», что суд еще ничего не решал, — он просто отрезал: «Во вторник утром состоится казнь».

Пред своими ближайшими слугами и сотрудниками Николай I не считал нужным играть роль карамзиниста. Он открыто и деловито руководил приготовлениями к казни декабристов. В тот же день, когда он заставлял Марии Федоровне, что «отстранил от себя смертный приговор», он, через министра юстиции, заранее повещал председателя Верховного уголовного суда, — «что если неизбежная смертная казнь кому подлежать будет, государь ее сам не утвердит, а уполномочит Верховный уголовный суд окончательно самому разрешить тот предмет». «Тем самым, — объясняет Б. Е. Сыроечковский, — Николаем было подсказано, как должен суд будет понять предоставление на его решение участи пяти первых осужденных». Но чтобы у суда не было никакого ужасного сомнения, чего от него ждет император, Николай поручил Дибичу известить кн. Лопухина особым письмом (сочиненным Сперанским), «что его величество никак не соизволит не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреливание, как казнь, одним воинским преступлением свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную». Иными словами, Николай приказывал декабристов повесить. В собственноручной приписке (11 июля) на записке Дибича Николай I определил час казни: «в 4 часа утра, так чтобы от 3-х до 4-х могла кончиться обедня, и их можно бы было причастить». И, наконец, самолично же заранее измыслил Николай I и весь обряд казни, — вплоть до «мелкой дробы», которую барабаны должны были встретить выведенных на казнь осужденных<sup>1</sup>. Нет никакого со-

<sup>1</sup> Б. Сыроечковский. «Николай I и начальник его штаба в дни казни декабристов». «Красный Архив», т. XVII, 1926 г., стр. 175—176, 178—179. «Мелкой дробью» Николай I приказал встретить осужденных в недошедшей до нас, но бывшей в руках А. Н. Толстого, записке к генерал-губернатору гр. П. В. Голицыну-Кутузову.

мнения, что Николай I не только сам осудил декабристов, но и сам, до мельчайших подробностей, руководил их казнью.

Так вскрывается весь последовательный ход сложной игры, которую разыграл Николай I перед казнью декабристов — игры в противника смертной казни и в благородного судью — рыцаря без страха и упрека. Финляндский манифест был прологом в этой сложной игре.

Нужно подивиться политической зоркости Вяземского, что он признал этот пролог за «предисловие к последствиям Верховного суда и род повешения, что государь не почитает себя в праве миловать тех, которых преступление» — заговор 14 декабря. Другие, — и лица, близкие к декабристам, — не разгадали смысла ни пролога, ни последующих реплик Николая I. Актер на троне мог торжествовать: полковник Скалозуб был принят за противника смертной казни, аракчеевец — за человекалюбца, который только и думает, что о смягчении всяких кр... Приятель Грибоедова и декабриста А. Одоевского, А. А. Жандр, вспоминал: «В обществе была надежда, что Николай простит или хоть не так тяжело накажет виновных главных лиц заговора. В тот самый день, когда их повесили, некоторые из близких мне людей видели отца Рылеева. Он был весел. Вот, стало быть, как сильна была надежда»<sup>1</sup>.

Еще сильнее сходный рассказ кн. С. П. Трубецкого. Когда, в день казни, он был обеспокоен необычным отсутствием Рылеева, Пестеля, Каховского, Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина, духовник декабристов, священник Мысловский, успокаивал его с полным убеждением: «Не пугайтесь того, что я вам скажу. Они будут приговорены к смертной казни и даже их поразит, но они будут помилованы. Я хотел вас предупредить»<sup>2</sup>. И Трубецкой поверил, как верили этому сотни других лиц. Как широко распространено было это убеждение, видно из слов, которыми историк Николай I счит возможным суммировать общее настроение общества перед 13 июля: «Никто не ожидал смертного исхода. Некоторые из осужденных и напутствовавший их прот. Мысловский рассчитывали, кажется, на помилование... Ходили слухи о том, что по приговору не будет пролита крови, он удивит всех своим милосердием»<sup>3</sup>.

Николай I мог похвалиться своей актерской удачей<sup>4</sup>. Однако

<sup>1</sup> Рассказ А. А. Жандра (февраль 1859 года) в передаче Д. А. Сминова: «Рассказы о Грибоедове». См. «А. С. Грибоедов его жизнь и судьба в мемуарах современника». Ред. и прим. З. Давыдова. Изд. «Красной Газеты» Л., 1929, стр. 290.

<sup>2</sup> «Записки кн. С. П. Трубецкого» стр. 73.

<sup>3</sup> Шильдер «Николай I» т. I, стр. 454.

<sup>4</sup> Любопытно отметить, что в следующем крупном политическом деле, петрашевцев, Николай I пошел дальше в театрально-политическом мастерстве

в игре зашел он слишком далеко. Такая всеобщая уверенность в сильнейшем смягчении участи декабристов и даже в их помиловании вовсе не была тем впечатлением, на которое была рассчитана его игра. Николай «переиграл». Желаемое ему политикосценическое впечатление должно было бы быть несколько иное. Общество должно было бы отозваться на приговор, примерно, так: «Суд был нелицеприятен; император милостив даже свыше ии самим обозначенных (в финляндском манифесте) пределов милости, избавив от смертной казни тридцать одного осужденного, и если пятеро все-таки повешены, то это потому, что и для милости, вышедшей за пределы, есть предел: иначе возопияла бы сама справедливость! Да и этих пятерых казнил не император, не подавший голоса и за их смерть, а казнила сама справедливость в лице независимого суда, который имел власть и не предавать их смерти». Вот то общественное впечатление, на которое рассчитывал самодержавный актер, играя свою слезливую мелодраму перед тем, как выступить в роли палача в кровавой трагедии 13 июля.

Вяземский уже по прологу к этой мелодраме получил должное впечатление, и с отвращением к актеру и пьесе стал ожидать наступления трагедии 13 июля. Для других же, — вопреки расчету Николая I, ожидавших после мелодрамы благополучного эпилога: «возвращение заблудших в лоно отчез», — день 13 июля явился неожиданным, тяжким ударом.

«Никто не ожидал смертной казни. Во все царствование Александра I не было ни одной смертной казни, и ее считали вполне отмененною. С легкой руки Николая I смертные казни вошли у нас как бы в обычай... и уже не производили того потрясающего действия, какое произведено было известием о казни Рылеева, Муравьева-Апостола, Бесгужева-Рюмина, Пестеля и Каховского. Описать или словами передать ужас и уныние, которые овладели всеми, — нет возможности: словно каждый лишился своего отца или брата»<sup>1</sup>.

С этим впечатлением от казни декабристов, сохранившимся у либерального А. И. Кошелева, схоже впечатление и консервативного чиновника Вигеля:

«Пять человек были повешены. Все это происходило вскоре после восхождения солнца и в отдаленной части города, следовательно зрителей не могло быть много. Несмотря на то, в этот день жители Петербурга исполнились ужаса и печали. Более шестидесяти лет, после Мировича, не видели они торговой смертной казни»<sup>2</sup>.

и поступил точь-в-точь так, как предупреждал прот. Мысловский Трубцко-го: петрашевцы избавлены были от смертной казни уже на самом эшафоте, после того, как испытали весь ужас предсмертных минут.

<sup>1</sup> А. И. Кошелев. «Записки». Berlin. 1884, стр. 18.

<sup>2</sup> Ф. Ф. Вигель. «Записки», изд. 1928 г., т. II, стр. 272.

Что Кошелев и Вигель верно представили общее впечатление общества, свидетельствует донесение одного тайного агента от 18 июля. В начале донесения он почти повторяет их выражения: «Казнь, слишком заслуженная, но давно в России не бывавшая, заставила, кроме истинных патриотов и массы народа, многих, особливо женщин, кричать: «quelle horreur! et avec quelle précipitation, etc.». Приговор суда, казнь и изъяснявший их манифест, по словам агента, «все это в истинных патриотах умножило восторг благоговения, колеблющихся обратило на сторону правого дела, но закоренелых болтунов, не могущих никаким в мире правительством быть довольными, все не уняло повторять хотя шопотом: quelle horreur, etc. Особливо женщин... В больших кругах дамы шепчут, что будет строгое царствование, воскреснет царь Иван Васильевич Грозный»<sup>1</sup>.

В 1827 году сенатор кн. Б. А. Куракин ревизовал Западную Сибирь, и в первом же донесении из Тобольска (от 14 мая) не мог утаить от Бенкендорфа: «С тою же откровенностью не скрою от вас, что общественное мнение вообще довольно громко говорит и о суровости приговора: его находят несколько тяжелым по отношению виновных»<sup>2</sup>.

Очевидно, общее впечатление от приговора — от Петербурга до Сибири — было не то, на которое рассчитана была предварительная игра Николая I.

## 8

Вяземскому принадлежит один из самых страстных, резких и враждебных Николаю I откликов на казнь декабристов. В общем вопле негодования он взял одну из самых высоких нот, но в одном эта нота была особая от всех: для Вяземского смертная казнь не была неожиданностью. Поэтому его отзыв на нее только кое-где звучит горячим вскриком негодования, а более похож на встречный, продуманный и доказательный обвинительный акт против Николая I и его суда.

«На-днях грянет гром, — писал Вяземский жене 10 июля, — душно мыслить и чувствовать».

В день казни декабристов Вяземский писал ей с тоскою и горечью, что «сильно встревожен грозными вестями о том, что готовится в Петербурге в рассуждении несчастных... Хорош предюд для ваших московских торжеств и празднеств [т. е. для предстоящей коронации Николая]! Совершенно во вкусе древних,

<sup>1</sup> Разрядка самого агента. «Декабристы». Неиздан. материалы и статьи, под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Оксмана. Изд. О-ва политкаторжан. М., 1925, стр. 38—39.

<sup>2</sup> Там же, стр. 111.

которые также начинали свои празднества жертвами и излишними криви ближнего!.. Какая лютая перемена в тесном круге нашем. Тургеневы, вероятно, надолго, если не навсегда, потеорянные для отечества; Карамзин во гробе; Батюшков в больнице сумасшедших; Жуковский при дворе!.. Как Тургенев, он едва ли не потерян для меня; по нашим положениям в обществе и образу мыслей, он в ином отделяется от меня чертою, которая отделяет от Батюшкова, и таким образом, хотя живой и здоровый, хстя не изгнанник, он почти для меня не существует, как Карамзин»<sup>1</sup>.

17 июля Вяземский уже знал о казни декабристов.

«При малейшей возможности, тот час вырвался бы я из России надолго... Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена: мне в ней душно, нестерпимо... Я не могу, не хочу жить спокойно на лобном месте, на сцене казни! Сколько жертв и какая железная рука пала на них.

На об чем говорить не хочется, — писал он жене в этот день, — в душе одно чувство, в уме одна мысль; оставляю их с тем, чтобы это кровавое чувство, эта кровавая мысль запекались бы про меня одного. Ты спрашиваешь, когда я буду? Право, не знаю теперь. Прежде полагал я при х ть ранее, но мысль возвратиться в торжествующую Москву [по поводу коронации Николая I], когда кровь несчастных жертв еще дымится, когда тысячи глаз будут проливать кровавые слезы, эта мысль меня пугает и душит»<sup>2</sup>.

«Одно чувство, одну мысль», о которых пишет Вяземский жене, он приносил на страницы своего дневника. Воспоминая свою запись о финляндском манифесте, Вяземский пишет 19 июля<sup>3</sup>:

«Не знаю, справедлива ли догадка моя, изъявленная выше, по крайнй мере 13-е число жестоко оправдало мое предчувствие! Для меня этот день ужаснее 14-го. По совести нахожу, что казни и наказания несор зм р ы преступлениям, из коих большая часть состояла в одном умысле. Вижу в некоторых приговоренных помышление о возможном цареубийстве, но истинно не вижу ни в одном твердого убеждения и решимости на совершение он-го. Одна совесть, одно всезрящее провидение может наказывать за преступные мысли, но человеческому правосудию не должны быть доступны тайны сердца, хотя даже и оглашенные».

Таким образом, по мнению Вяземского, самая квалификация «преступления» декабристов лжива, а прием построения всего обвинения на одних лишь «тайнах сердца», добытых при допросах Николаем I и его помощниками и оглашенных в обвинительном акте как деяния, юридически недопустим. За «мысли» наказывает «одна совесть», а не суд. Вяземский отрицал указанный приговором объем вины декабристов, за которую они понесли кару. Он навсегда остался при этом убеждении. В 11-ю записную книжку (1838 — 1850 годы), он вписал письмо Николая I к главнокомандующему 2-й армией Витгенштейну, писанное 15 де-

<sup>1</sup> «Остаф. архив», т. V, вып. 2, стр. 46—50—52.

<sup>2</sup> Там же, стр. 53.

<sup>3</sup> Казни декабристов посвятил Вяземский ряд записей, занимающих 81—85 страницы нетронутого цензурой экземпляра IX тома, который исключительно я и цитирую здесь.

кабря 1825 года: «Здесь открытия наши весьма важны, и все почти виновники в моих руках. Гвардия себя показала как достойно [?!] пам-ти ее покойного благодетеля [Александра I]». «В сем письме между прочими ошибками, — отмечает Вяземский, — замечательна следующая: все почти виновники, вместо: почти все виновники. И точно, — иронически соглашается Вяземский с Николаем I. — в числе было не мало почти виновников», — и не отказывает себе в удовольствии лишней раз уличить Николая I во лжи: «Гвардия себя показала» etc. Да кто же, кроме части гвардии, и начал возмущение?»<sup>1</sup> Декабристы навсегда оставались для Вяземского только «почти виновниками» в том, за что были судом сосланы в Сибирь.

Как противник решался оружием тяжб между правительством и обществом, Вяземский готов и тут признать: «Правительство должно обеспечить государственную безопасность от исполнения подобных покушений», — т. е. правительство в праве было подавить вооруженное восстание на Сенатской площади, — «но права его не идут далее». Вяземский уясняет, к кому приравнивается правительство, если, как Николай I, простирает эти права свои «далее»: «Я защищаю жизнь протав убийцы, уже поднявшего на меня нож, и защищаю ее, отъемля жизнь у противника»: это — осуществление права самозащиты, принадлежащего и частному лицу, и правительству, — «но если, по одному сознанию намерений его, спешу обеспечить сыю жизнь от опасности, еще только возможной, лишением жизни его самого, то выходит, что убийца настоящий не он, а я». Как раз это самое сделал Николай I: по одному сознанию некоторых заговорщиков в давнем умысле на цареубийство, он судил и казнил их за цареубийство<sup>2</sup>.

Для неллицемерной логики монархиста Вяземского нет сомнения, что настоящий «убийца» не Каховский с Рылеевым, а сам Николай I. Имея в виду «оправдательные» манифесты царя, Вяземский оспаривает их: «Личная безопасность, государственная безопасность — слова многозначительные, а потому не нужно придавать им смысл еще обширнейший и безграничный, а не то безопасность одного члена или целого общества будет опасностью каждого и всех». Этот «один член» — Николай I. Отклонивший

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 207. Подчеркнуто самим Вяземским. Отмечает безграмотность письма Николая I.

<sup>2</sup> Отклоняя призыв брата написать оправдательную записку Николаю I, Н. И. Тургенев писал 17 апреля 1826 г.: «Какое правосудие может требовать отчета в разговорах, между приятелями бывших? А что было крме разговоров? И можно ли судить за мнения? И где гра-о или закон, требующий таких или таких, запрещающий такие или такие мнения?» (А. Шлебунин. «Н. И. Тургенев в раннем обществе декабристов». Сб. «Декабристы и их время». М., 1927, стр. 118).

свое вступление в тайное общество и объявивший себя несочувственником тайных обществ вообще, Вяземский последовательно признает: «Правительство имело право и обязанность очистить, по крайней мере на время, общество от врагов его настоящего устройства, и обширная Сибирь предлагала ему свои безопасные заточения. Других должно было выслать за границу, и Европа и Америка не устрашились бы от наводнения наших революционистов. Не подобными им людьми совершается революция не только в чуже, но и дома». Замечательные слова, являющиеся ключом к позднейшим высказываниям Вяземского о декабристах и их деле.

Четыре года спустя, при получении первой вести о польской революции, Вяземский, хорошо знавший Польшу, признался: «Худо их [поляков] понимаю. Прапорщики не делают революции, а разве производят частный бунт. 14 декабря не было революции. Я уверен, что все это происшествие — вспышка нескольких головорезов, которую можно и должно было унять тот же час, как то было 14 декабря»<sup>1</sup>. Это позднейшее признание позволяет не ошибиться в смысле последних приведенных фраз из дневника 19 июля 1826 года. Восстание на Сенатской площади, в понимании Вяземского, было узким военно-дворянским движением, в котором вовсе не участвовали широкие массы и которое не могло иметь и не имело в них отклика. «Прапорщики не делают революции». Исходя из истории Великой французской революции, Вяземский утверждает, что не людьми, подобными Каховскому, с товарищами, совершаются революции, — предполагается, что они совершаются людьми, подобными Робеспьеру, Марату, Бабефу, истинным выразителям стремлений народных масс и борющихся классов. Вяземский оттого так уверенно и советует Николаю I выслать декабристов во Францию и Англию, что даже самые консервативные правительства окажут гостеприимство «революционерам» 14 декабря: «у революционеров» этих нет связей и полигико-социальных соинтересов с народными массами ни дома, ни на чужбине. По мнению Вяземского, между тем, что делалось во Франции в 1789 — 99 годах

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 150. У Пушкина есть параллельное суждение о «прапорщиках» декабря в его иронической черновой строфе из X главы «Евгения Онегина»:

Сначала эти заговоры  
Между лафитом и клико  
[Лишь были дружеские споры]  
И не [входила] глубоко  
В сердца мятежная наука,  
[Все это было только] скука,  
Бездесть молодых умов,  
Забавы взрослых шалунов.

(Соч. Пушкина, т. IV, изд. Гос. изд., М., 1930, стр. 224).

с продолжением в июле 1830 года (он внимательно следил за ходом июльской революции), и тем, что делалось в России в течение одного декабрьского дня 1825 года, мало общего: там — революция, здесь — вспышка дворянской военной молодежи. Это не значило, — как увидим дальше подробнее, — что Вяземский предпочитал 1/89-й или даже 1830 год 1825-му, — это, в его глазах, являлось только мерой серьезности, а следовательно, и опасности для власти, того и другого выступления с оружием в руках<sup>1</sup>.

При этой примерке-сопоставлении «революции» и «вспышки», еще бессмысленнее, по суждению Вяземского, представлялась смертная расправа Николая I: с «прапорщиками», простоявшими целый день почти бездейственно против Зимнего дворца, он расправился будто с теми, кто взял Бастилию и казнил короля на Гревской площади.

Вяземский ведет резкое нападение на смертную казнь, точно в предчувствии, что казнь декабристов — только начало карательной практики Николая I, которая вынудит А. И. Кошелева сказать впоследствии: «С легкой руки Николая I смертные казни вошли у нас как бы в обычай». Смертная казнь не устрашает даже уголовных преступников, тем менее может она действовать на деятелей политических — вот первый аргумент Вяземского.

«Пример казни, как необходимый страх, для обуздания последователей, есть старый припев, ничего не доказывающий. Когда кровавые фазы французской революции, видевшей поочередно гибель и жертв и притеснителей, и мучеников и мучителей, не служат достаточными возвещениями об угрожающих последствиях, то какую пользу принесет лишняя виселица? Когда страх казни не удерживает руки преступника закоренелого, не пугает алчного и низкого корыстолюбия, то испугает ли он страсть, ослепленную бесчеловечными заблуждениями, вдыхающую в душу необыкновенный пламень и силу, чуждые душе мрачного разбойника, посягающего на вашу жизнь из ста рублей<sup>2</sup>. Плаха грозит и ему так же, как государственному преступнику, но ему она является во всем ужасе позора, а последнему в полном блеске апофеоза мученичества. Когда страх не действителен на порок, то подействует ли он на фанатизм, который в самом начале своем есть уже иступление, или вступление из границ обыкновенного. Рассудок, опыт должны их сказать, что первые затейщики бывают первыми жертвами, но они безумцы, в них нет слуха для внимания голосу рассудка и опыта! Следовательно, и казнь их будет бесплодна для других последователей, равно безумных. А для того, который замышляет революцию в твердом и добросовестном воодушевлении, что он делает должное, личный успех затмевается в ложном, или истинном свете того, что он почитает истиною».

<sup>1</sup> См., например, запись об июльской революции: Полн. собр. соч., т. IX, стр. 139.

<sup>2</sup> Участие в движении 14 декабря солдат и рабочих, занятых при постройке Исаакиевского собора, укрылось от внимания не одного Вяземского, но не было принято с должным вниманием и историками, вплоть до самого последнего времени. Любопытно отметить, что Николай I приметил хорошо, каково было отношение к нему рабочих 14 декабря.

<sup>3</sup> Здесь кончается 82 страница IX тома; страницы 83—84 и 85—86 вырваны цензурой и перепечатаны с значительными исключениями.

Казнью революционеров нельзя казнить революцию: вот что говорит Вяземский Николаю I в ответ на те места его манифестов, где дается понять, что «общественное благо», т. е. подавление революции, требовало этой меры. Но Николай I всюду выставлял свое воцарение и самый суд над декабристами как дело, имеющее религиозную санкцию, — и Вяземский считает нужным и здесь напасть на него: «Закон может лишить свободы, ибо он ее и даровать может, но жизнь изымается из его ведомства. Смерть — таинство. Никто из смертных не разгадал ее. Как же располагать тем, что мы не знаем. Может быть, смерть есть величайшее благо, а мы в святотатственной слепоте ругаемся ею святынею! Может быть, сие таинство есть звено цепи и растриваем весь порядок мира, за пределами нашего. Сии предположения могут быть приняты в уважение и не одним суеверием. Конечно, они сбиваются на мечтательность, но чем доказать их несомнительность, какими положительными опровержениями их опровергнуть? Человек, закон не могут по произволу даровать жизнь, — следовательно, не властны они даровать и смерть, которая есть ее естественное и непосредственное последствие».

Официального покровителя религии, в официальном акте объявившего, что «был перст божий, указующий нам путь и средства<sup>1</sup> и обязанность нашу»<sup>2</sup>, подавив восстание, судить декабристов — «защитника веры» Вяземский обвинял здесь в том, что он, предав смерти заговорщиков, «в святотатственной слепоте ругается святынею».

На этом кончается запись дневника от 19 июля. На следующий день Вяземский продолжал ее, как продолжает прокурор, после перерыва, обвинительную речь на суде.

Смертная казнь не может быть наказанием — вот основная мысль следующего раздела обвинительной речи Вяземского:

«Если смертная казнь и в возвышенном отношении есть мера естественная и нам не подлежащая, то увидим далее, что, как наказание не согласна она с целью своею. Может ли смерть, и нами учтен каждый, быть чем-то отменным, изъятым из общего положения? Может ли мысль о смерти остановить того, который не уверен ни в одном чине блага, сего? Сколько людей хладнокровно разыгрывают жизнь свою в разных опасных испытаниях, в поединках, в предприятиях дерзновенных! Если страх насильственной смерти был бы так действителен над человеком, то из кого бы вербовалась армия?»

На этом вопросе цензура Александра III прервала Вяземского.

«В войне, — продолжал обвинитель Николая I, — смерть поражает не каждого, но разве заговорщик не предвидит удачи?»

Это «предвидение удачи» было не только у заговорщиков 14 декабря, но и у конспираторов 1 марта: параллель была слишком ясна, а напоминание об «удаче» 1 марта было слишком переносно для только что собравшегося с духом правительства Александра III, чтобы позволить Вяземскому говорить и дальше.

<sup>1</sup> «Средства» — следовательно, и смертную казнь. Разрядка наша.

<sup>2</sup> «Полное собрание законов». Собрание 2-е, т. I, стр. 514.

«Остается одно поношение смерти гозорной, но сказано справедливо:

Le crime fait la honte et non pas Geschafaud<sup>1</sup>. Если воспламенное воображение, если совесть не говорят, что я посягаю на д а л е прэ туи е, то мысль, что светлейший Лопухин почтет оное за преступлен е, н е ост и вит меня»<sup>2</sup>.

И тут возможна была параллель: как было допустить мысль, что и «Лопухин» 1 марта — прокурор Муравьев — «не остановит» свои и прощениями тех, кто пожелал бы следовать за казненными деятелями «Народной Воли»? Параллель была тем полнее, что число казненных за «декабрь» и за «март» было одно и то же — пятеро: Пестель, Рылеев, Муравьев, Бестужев, Каховский, — Рысаков, Желябов, Михайлов, Кибальчич, Перовская. Умный учитель мог, пожалуй, из такого сопоставления вывести заключение и об успехах революционного движения: среди декабристов не было женщин. — теперь, через пятьдесят пять лет, и женщина не побоялась взойти на эшафот.

## 9

Мысль о смерти, как о наказании, не может удержать от участия в революции, как мысль о смерти не останавливает нас в жизни от всего, что грозит смертью.

«Говорю здесь об одних политических преступлениях, — продолжает прерванный цензурой прокурор Вяземский — коих единственное преступление в мнении, доведенном до страсти. У других преступников и другие страсти, но во всяком случае мысль о смерти никого и пугать не может. Человек, рассуждающий хладнокровно, скажет: «Я могу толкко ускорить час: с ой, н о все пробить ему должно: сколько раз висела у меня жизнь на волоске от неосторожности моей, от прихоти. Кто уверит меня, что завтра не постигнет меня смертельная болезнь, которая гоняет меня го гробу томительно и страдальческо окончению, или что сегодня же об учится на моя смерть нечаянная?» Человеку в жару страсти, или страстей побочных или возвышенных, все равно, не нужно ободрять себя рассуждениями. Он в слепом отчаянии ничего не видит, кроме цели своей, и бешено рвется к ней сквозь все преграды и мимо всех опасностей. Страх смерти может господствовать в душе ясной, гордой, любящейся настоящим, но не такова душа заговорщика. Мысль о смерти теряется в буре замыслов, надежд, страстей, ее терзающих. Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не помня слов своих к России: «честному человеку не должно подвигать себя висельце».

Тут опять цензор Александра III прервал Вяземского — на месте примечательном: Вяземский, воспитанник, безоговорочный поклонник, можно сказать, исповедник Карамзина, вступает с ним в полемику, оспаривая это его утверждение противоположно-

<sup>1</sup> Не эшафот, а преступление доставляет бесчестие.

<sup>2</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 84 не исправленного издания. «Светлейший Лопухин» — председатель Верховного уголовного суда кн. П. В. Лопухин; по определению Н. И. Тургенева «светлейший и подлейший» председатель Государственного совета («Архив бр. Тургеневых», вып. 5, стр. 116).

дением: «Нет, бывают времена, когда честному деловому человеку должно подвергать себя виселице!»

«Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры в провидение, но как согласите вы с ней самоотречение мучеников веры или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Телля, Шарлотту Корде и других им подобных? Дело в том, что можно и чего не должно терпеть. Но можно ли составить из того правило? Хладнокровный вытерпит более, пламенный энтузиаст гораздо менее»<sup>1</sup>.

Цензура Александра III поспешила изъять из обращения эту психологическую декларацию права на революционную деятельность.

20-го же числа Вяземский послал горькое признание жене:

«О чем ни думаю, как ни развлекаюсь, а все прибавляет меня невольно и неожиданно к пяти ужасным виселицам, которые для меня из всей Р с и сделали страшное лобное место. Знаешь ли ты люте подробности казн? Трое из них — Рылеев, Муравьев и Каховский — еще заживо упали с вислицы в ров, переломали себе кости, и их госде того госвели на вторую смерть. Народ говорил, что, видно, бог не хочет их казни, что должно ославить их, но барабан заглушил вопль человечества, и новая казнь совершилась»<sup>2</sup>.

21-го Вяземский ничего не записал в дневник. 22-го он продолжал полемику с Карамзиным, явно повышая степень своего политического свободомыслия. На этот раз возражать Карамзину он заставил Карамзина же.

«Сам Карамзин сказал же в 1797 году:

Тацит велик, но Рим, описанный Тацитом,  
Достоин ли пера его?  
В сем Риме некогда геройством знаменитом,  
Кроме убиц и жертв не вижу ничего.  
Жалеть об нем не должно:  
Он стоит лютых бед несчастья своего,  
Терпя, чего терпеть без подлости не можно»<sup>3</sup>.

«Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть мера долготерпению».

Эта мера указана самим же Карамзиным, этою, в глазах Вяземского, мерою благородства, политической честности и государственного разума. Так переходит Вяземский неприметно от защиты декабристов к историческому оправданию самого их деяния — 14 декабря. Десять лет спустя, в открытом письме к С. С. Уварову, Вяземский спросит: «И самое 14 декабря не было ли, так сказать, критика вооруженною рукою на мнение,

<sup>1</sup> Стр. 84—85 IX тома. В исправленном издании это место отсутствует.

<sup>2</sup> «Остаф. архив» т. V, вып. 2, стр. 54—55.

<sup>3</sup> Разрядка самого Вяземского

исповедуемое Карамзиным, т. е. «Историю Государства Российского»<sup>1</sup>. Теперь же, под впечатлением казни 13 июля, Вяземский готов на мнении Карамзина, высказанном в сурово-безумное Павлово царствование, строить апологию декабристов, защиту их прав на восстание: «писавшие вооруженною рукою критику на «Историю Государства Российского», оказывается, не только были в праве ее писать, но и действовали как бы по рецепту ее автора: «Был ли Карамзин преступен, обнаруживая свою мысль [что нельзя терпеть, «чего терпеть без подлости не можно»], и не совершенно ли она противоречит апофегме, приведенной выше? Вот что делает разность мнений!» — восклицает Вяземский и ставит на очную ставку с Карамзиным своего приятеля Пушкина: «Несчастный Пушкин в словах письма своего: «Нас по справедливости назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай!» — дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения...<sup>2</sup> переполнена, и что нельзя было не воспользоваться пробившим часом».

Вызванный Вяземским в свидетели, Пушкин показал неопровержимо, что восстание 1825 года было совершено по тому рецепту, какой Карамзин дал для «честных людей» в эпоху императора, который, по его же словам, «заставил ненавидеть злоупотребления самодержавия»: все «показание» Пушкина — как бы пересказ приведенных стихов историка, с переменой «Рима» на Петербург. Увлеченный логикой борьбы с приговором Николая и казнию 13 июля, Вяземский договаривается до признания права народов на революцию. Монархист-конституционалист готов признать, что в истории бывают моменты, когда политико-социальные организмы требуют не лечения медленного, а решительной операции, революции, а не эволюции: «Человек ранен в руку, лекаря сходятся. Иным кажется, что антонов огонь уже тут, и что отсечение члена единственный способ спасения; другие полагают, что еще можно помирволить с увечьем и залечить рану без операции. Одни последствия покажут, которая сторона была права; но разноличность мнений может существовать в лекарях равно сведущих, но более или менее сметливых и более или менее надежных на вспомогательство времени и природы». «Разумеется, — оговаривается Вяземский, — есть мера и здесь. Лекарь, который из оцарапки на пальце поспешит отсечь руку по плечо, опасный невежда и преступный балаб». Там, где есть представительные учреждения и законные формы для выражения общественного недовольства, где нет абсолютной монархии, там,

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. II, стр. 218.

<sup>2</sup> Точки и в неисправленном издании, — надо думать обозначающие пропуск, сделанный редактором издания.

по Вяземскому, революция есть действие такого невежественного лекаря: «Резолюционеры Англии и Франции (если они существуют), которые, раздраженные частыми злоупотреблениями, затевают пожары у себя, так же нелепо односторонни в уме, или преступно себялюбивы в душе, как и эгоист, который зажигает дом ближнего, чтобы спечь себе яйцо»<sup>1</sup>.

Очевидно, революционеры России не таковы, и на Сенатскую площадь «прапорщики» вышли с боевым огнем не для того, «чтобы спечь себе яйцо».

На этом кончаются датированные июльские записи в дневнике Вяземского. Протест и негодование против казни декабристов логически привели его к историческому оправданию и самого «декабря» — декабризма, как революции. После небольшой заметки о Батюшкове, без даты, которая, однако, не может быть далека от 20-х чисел июля, Вяземский вновь возвращается к декабризму. На этот раз он нападает на другого виновника жестоких кар — на Верховный суд:

«Умел же и осмелился же Верховный уголовный суд предписывать закон государю, говоря в докладе: «И хотя милосердию от самодержавной власти исходящему, закон не может положить никаких пределов, но Верховный уголовный суд приемлет дерзновение представить, что есть степени преступления столь высокие и с общей безопасностью государства столь смежные, что самому милосердию они, кажется, должны быть недоступны». Тут, где закон говорит, что значат ваши умствования и ваши пожелания? — с негодованием спрашивает Вяземский Фамусовых и князей Тугоуховских, заседавших в Верховном суде. — Когда дело идет о пролитии крови, то тогда умеете вы дать вес голосу своему и придать ему государственную значительность... А в докладе Следственной комиссии не хотели и побоялись оставить вопль жалости, коим редактор хотел окончить его, чтобы обратит сострадание государя на многие жертвы, обреченные всей лютости закона буквально, но которые должны были быть изъяты из списка, ему представленного, по многим и многим уважениям».

Редактором — вернее, составителем — «доклада» был приятель Вяземского, арзамасец Д. Н. Блудов, и о чашерении его, похороненном Фамусовыми, Вяземский знал, конечно, от него самого. Вигель, — правда, пользовавшийся всегда протекцией Блудова, — также приписывал ему намерение смягчить в «докладе» вины декабристов: «Излагая их суждения, Блудов умел умаить их значительность и тем самым, вероятно, надеялся смягчить над ними приговор суда»<sup>2</sup>. Однако общее мнение либеральных кругов было не в пользу участия Блудова в суде над декабристами, в числе коих было немало его знакомцев и друзей. Греч передает это мнение, когда пишет: «Как бы хорошо было,

<sup>1</sup> Далее будут приведены аналогичные мысли Лунина, высказаные им по поводу польского восстания 1830 года.

<sup>2</sup> Вигель, «Записки», т. II, стр. 270.

если б он оставался всю жизнь при своих невинных занятиях [разумеется литературное дилетантство Блудова], не сочинял донесения о смутах 14 декабря 1825 года, а читал и пописывал стишки»<sup>1</sup>. В декабре 1830 года сам Вяземский, издаваясь над ведеречием манифеста по поводу польской революции, сочиненного Блудовым, почти повторил слова Греча: «Странная и незавидная участь Блудова: имея авторское дарование, он до сорока лет и более не мог решиться ничего написать. Тут вдруг получила литературную известность прологом своим к действиям палачей»<sup>2</sup>. В 1826 году мнение Вяземского об участии пера Блудова в деле декабристов вряд ли было другим, и упоминаемое намерение Блудова закончить «доклад» «вопием жалости» приведено Вяземским не столько в оправдание участия Блудова в «прологе к действиям палачей», сколько в новую обвинительную улику этим действителям.

А обвинял Вяземский палачей резко и негодуяюще:

«Как нелеп и жесток доклад суда! Какое утонченное раздробление в многосложности разрядов и какое однообразие в наказаниях! Разрядов преступлений одиннадцать, а казней по-настоящему три: смертная, к торжная работа, ссылка на поселение. Все прочие подразделения мнимые или так сливаются оттенками, что не различишь их! А какая постепенность в существе преступлений! Потом, какое самовластное распределение преступников по разрядам. Капитан Пущин<sup>3</sup> в десятом разряде осужден к лишению чинов и дворянства и написанию в солдаты до выслуги, а преступление его в том, что он «знал о приготовлении мятежу, но не донес». А в одиннадцатом разряде осужденных к лишению только чинов, с написанием в солдаты с выслугою, есть принадлежавший к тайному обществу и лично действовавший в мятеже. Тургенев, осужденный к смертной казни отсечением головы, — в первом разряде (Тургенев, не избалованный в умыслах царубийство!), и в шестом разряде (осуждаемых к временной ссылке в затворную работу на шесть лет, а потом на поселение) — участвовавший в умыслах царубийства. Еще вопрос: что значит участвовать в умыслах царубийства, когда переменою в образе мыслей я уже отстаю от мысленного участия, и может ли мысль быть почитаемая за дело? Можно ли наказывать как вора человека, который лет десять тому назад помышлял, что не худо было бы ему украсть у соседа сто рублей, и потом во все продолжение этих десяти лет бывал ежедневно в доме соседа, имел тысячу случаев совершить покражу и не вынес из дома ни полушки?..»

Что за верховный суд, который, как Немезида, хотя и поздно, но вырывает из глубины души тайны и давно отложенные помышления и карает их как преступление налицо? Неужели не должно существовать право давности? Например, несчастный Шаховской: что могло быть общего с тем,

<sup>1</sup> Греч. «Записки», стр. 647.

<sup>2</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 153. «Палачей одобряли «пролог» Блудова: Сочувственнейший отзыв о докладе: сделал «тайных дел мастер», помощник Бенкендорфа М. Я. фон-Фок в письме к нему от 7 июля 1826 г. См. в сб. «Декабристы». Неизд. материалы, под ред. Б. Модзалевского и Ю. Оксманова, М., 1925, стр. 50.

<sup>3</sup> М. И. Пущин.

что он был некогда, и тем, что был после? <sup>1</sup> И один ли Шаховской? Зачем так злодейски осуществлять слова? Мало ли что каждый сказал на своем веку: неужели несколько лет жизни покойной, семейной не значительнее нескольких слов, сказанных в чаду молодости на ветер? <sup>1</sup> <sup>2</sup>.

После этой гневной филиппики против суда палачей, в дневнике Вяземского идут небольшие житейские отметки из его ревельской жизни. Отметки неожиданно пресекаются записью:

Стихи Сергея Мравьева.

Je passerai sur cette terre  
Toujours triste et solitaire,  
Sans que personne m'ait connu,  
Ce n'est qu'au bout de ma carrière,  
Que par un grand trait de lumière  
L'on saura ce qu'on a perdu <sup>3</sup>.

Целая цепь домыслов, негодований, сочувствий, обвинений, вызванная в Вяземском казнью декабристов, замыкается этими стихами казненного декабриста, в которых он напроорочил себе свою судьбу!

Прекратившись в дневнике, записи о декабристах не сходят со страниц писем Вяземского к жене. «Посылаю тебе кошню с письма Рылеева к жене. Какое возвышенное спокойствие!» — характеризует он 7 августа 1826 года знаменитое предсмертное письмо Рылеева. 14 августа он пишет: «Нам сказали было, что несчастный Трубецкой при смерти болен, а после совершенно о нем замолкли, и не знаем, что с ним сделалось». 6 сентября повещает жену: «Заезжал к кн. Софии Волконской... Слышу, что есть облегчение в участи несчастных». Делясь с женой вестями о декабристах, Вяземский намечал приезд свой в Москву так, «чтобы мне с ним [с Николаем I] не съезжаться», и пояснял (письмо от 3 августа): «Я человек не праздничный, да и к тому же это материалы для моего биографа: Был москвич и не хотел возвратиться в Москву на коронацию». Это ему и удалось: «Я и поровнил, чтобы возвратиться в Москву к шапочному разбору, а не прибору Мономаховой шапки» <sup>4</sup>.

Все эти признанья, сочувственные к декабристам и презрительные к их верховному судье, Вяземский делал во весь голос, зная хорошо, что письма его вскрываются на почте. «Я не

<sup>1</sup> Выделение Шаховского как особо-несправедливо обвиненного и осужденного, показывает, с каким вниманием Вяземский читал и изучал «Допесение» и «Приговор». Работа П. Е. Щеголева о Шаховском («Исторические этюды». П., 1913) подтверждает взгляд Вяземского на него, как на одну из самых вопиющих жертв судебной расправы Николая I

<sup>2</sup> 87—88 страницы IX тома не исправленного издания. Разрядка самого Вяземского.

<sup>3</sup> Там же, стр. 93.

<sup>4</sup> «Остаф. архив», т. V, вып. 2, стр. 71, 76, 90, 79; «Архив бр. Тур-геновых», вып. VI, стр. 41.

прочь от этого, — обращается он с прямым вызовом к вскрывающим, — но прошу только вас, господа, на письменных заставах команду имеющие, недолго задерживать наши письма! Я знаю, что вы не очень грамотны и довольно тупы по своей породе, и что легко не разбираете бы ни руки моей, ни смысла моего», — и подписывается под этой просьбой:

«С глубочайшим высокопочтанием имею честь пребыть вашим...

(Что, бишь, вы? — превосходительство, или выше, или еще выше? Право, не знаю; но сами вставьте свои титула, а я со всею покорностью слуги, который из передней ругает своих господ, но поповеле им повинуется)

...всепокорнейшим слугою князь Петр Андреевич сын Вяземский, отставной камер-юнкер и более ничего»<sup>1</sup>.

«Выше» «превосходительства» был в царской России «высокопревосходительство», а «выше» «высокопревосходительства» был только царский дом с императором во главе. Его-то «слугою» и писался здесь Вяземский в пароксизме негодования, — «слугою», своеобразную эпистолярную «покорность» которого можно было расценить, как прямое «оскорбление величества».

Вяземский как бы не в силах отделаться от впечатлений казни и судьбы декабристов. Это впечатление, — в с е г д а обвинительное для Николая I, — сохраняет силу в течение многих лет. Не помнить о 14 декабря и трагедии 13 июля — позор:

«Я видел в Петербурге Е. Ф. Муравьеву, — пишет он 29 сентября 1826 года А. И. Тургеневу и Жуковскому. — Вот истинный ад! Сеньювья ее еще в крепости, так же как и многие из несчастных. Небольшое число отправлено уже в Сибирь и между прочими: Волконский, Трубецкий, Якубович, Давыдов. Муравьевы, мать и жена, поедут за своими, когда их отправят, не знают еще, будут-ли они точно работать, или просто содержаться в крепости, которую на сей конец строят в Сибири. Трубецкая так же поехала за мужем и вообще все жены, кажется, следуют этому примеру. Дай бог, хоть им искупить гнусность нашего века. Вообразите, что 14-ое и 13-ое уже и не в помине. Нет народа легкомысленнее и бесчеловечнее нашего. Знаете ли вы письмо Рылева?»<sup>2</sup>

На мрачном фоне общественного холопства и пресмыкательства пред «победителем» Николаем, подвиг жен декабристов приобретал, в глазах Вяземского, особое значение. Тем же А. Тургеневу и Жуковскому он писал 6 января 1827 года:

«На-днях видели мы здесь проезжающих далее Муравьеву-Чернышеву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное и возвышенное отречение! Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории. В них, точно, была видна не экзальтация фанатизма, а какая-то чистая, безмятежная покорность мученичества, которая не думает о славе, а увле-

<sup>1</sup> Письмо к жене от 21 августа 1826 г «Остаф арх.», т. V, вып. 2, стр. 71.

<sup>2</sup> «Архив бр. Тургеневых», вып. 6 стр. 43

кается, поглощается одним чувством, тихим, но всеобъемлющим, всеодолевающим. Тут ничего нет для галлерей, да и где у нас галлерей? Где публичная оценка деяний?»<sup>1</sup>.

В ноябре 1826 года Вяземский прочел переведенную И. Козловым «Абидосскую невесту» и, найдя, в «посвящении» поэмы императрице Александре строки, относящиеся к Николаю I,

«Чей первый царства день был днем бессмертной славы,  
Спасеньем алтаря, России и Державы»,—

писал А. И. Тургеневу и Жуковскому, другу Козлова:

«Досадно и грустно. Хотел бы похвалить поэму, но рука не подымется упомянуть об эпистоле. Не наше дело судить, а все-таки сто двадцать братьев на каторге. Можно бы полжизнью купить забвение 14 декабря, а не то что воспевать его, разве с тем, чтобы призывать милосердие на головы виновных и жертв. Не говорю уже о чувстве, но досадую на неприличие... Бестужева, последнего брата несчастных, сослали в Бобруйск, на крепостную работу»<sup>2</sup>.

Со времени опалы, — когда Вяземский, по его признанию, «посадили на диету: письма мои, ни дать, ни взять, будут статьи „Северной Почты“»<sup>3</sup>, — он стал настолько осторожнее в своих эпистолярных высказываниях, но это не мешало ему пренебрегать эту осторожностью всякий раз, как был случай делиться с А. И. Тургеневым вестями о декабристах, — эти вести всегда были полны сочувствия к ним и еле скрытого презрения к их осудителям.

В октябре 1828 года Вяземский писал А. И. Тургеневу:

«Об отдаленных ничего утешительного не слышать, кроме того, что некоторые, выслужив свои каторжные года, переведены на поселение: например, Чернышов, Крицов, и места поселения назначены им невыгодные. Пушкину, Коновницину, разжалованным в солдаты, возвращены офицерские чины в армии Паскевича. Кстати: мне давно Е. Ф. Муравьева дала поручение для тебя; со слезами на глазах просила она меня уведомить тебя, что Никита, уже после суда, клялся ей, что он никогда ничего не доносил на брата твоего, как о том сказано в отчете Следственной комиссии. Ее душила эта ложь, и несколько раз умоляла она меня обнаружить ее тебе при первой возможности».

Так продолжал Вяземский быть критиком «Донесения», разрушителем обвинительной легенды осудителей. И тут же делился вестью о горькой судьбе декабриста, уже и прежде выделенного им из всех по особо-несправедливому приговору, постигнутому его: «Из числа несчастных сибиряков помещался князь Федор Шаховский, поселенный»<sup>4</sup>.

В апреле 1830 года, — когда Вяземский уже кончал «опальное поприще», начиная новое, «служебное», — он написал

<sup>1</sup> Там же, стр. 56.

<sup>2</sup> Там же, стр. 50—51.

<sup>3</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 192.

<sup>4</sup> Там же, т. III, стр. 178.

А. И. Тургеневу замечательное письмо по поводу хлопот, которых все не оставлял последний ради реабилитации брата, Николая Ивановича. Александр Иванович, несмотря на многолетние неудачи, все еще надеялся добиться от правительства пересмотра дела брата, уповая, что пересмотр приведет к его оправданию. Вяземский горько пенял на эту братолюбивую наивность:

«С того времени нет еще у нас нового поколения, новой эры: мы все при тех же и при том же. Как дотронуться до одного осуждения, не расшевелив всех осуждений, не подняв со дна Сибири всего дела, не повернув мертвых без гробов [Вяземский говорит о повешенных Рылееве, Пестеле, Каховском, Бестужеве-Рюмине, Муравьеве-Апостоле, тела которых были брошены в могилу и засыпаны известью], не поразив ста семейств, которые в праве были бы требовать: «Пересмотрите дела и наших: наши еще несчастливее!» Верно, и между ними есть невинные, и много таких, которые наказаны не по мере преступления. Ты можешь желать помилования, но и помилование невозможно, ибо оно было бы несправедливостью для других; и если миловать, так миловать скорее из тех, которые наказаны *de fait*, которых жизнь какая-то живая смерть, не политическая, не умозрительная, но положительная смерть, которая родит живую смерть, как у Муравьева, Трубецкого и других, живших или приживших детей, для коих нет будущего».

Время не охладило и не затупило инвектив Вяземского на расправу Николая I с декабристами: в этом эпистолярном отрывке негодования к судьям и глубокого сочувствия к осужденным не меньше, чем в его июльских записках 1826 года.

Очень ярко и сильно и то, что он пишет дальше о Н. И. Тургеневе, жившем за границей изгнанником:

«Да и захочет ли помилования тот, qui est à la hauteur de son infortune, который не захочет сойти с нее; перейти — дело другое, перейти на ступень, себя достойную; но этот переход у нас невозможен. У нас выражение: «требовать суда» — неологизм! Как мог ты так скоро отстать от православных обычаев языка нашего и замещать их новизнами! Ты говоришь себе: «Был бы он в России, приезжай он в Россию в то время, и он был бы совершенно оправдан». Сбыточное ли это дело? Можно ли минуту сомневаться в неотразимой истине, что он был бы осужден наравне с другими? Не был бы он в первых категориях, охотно верю; но неминуемо был бы в одной из последних... Он бывал в Обществе, он знал о существовании Общества — у нас довольно: он государственный преступник; и, верно, брат твой не из тех, которых ждали бы эскамотировать у суда... «И ты хлопочешь, ты рвешься — из чего? — заключает Вяземский. — Переделай жребий брата твоего, и Россия не была бы Россией; тут нет увеличения, а строгая истина. Это раскрыло бы в ней новые элементы, которых мы не видим, которые дали бы ей совершенно новый образ»<sup>1</sup>.

В письме ярко отражен безнадежный взгляд Вяземского на николаевскую Россию, обезлюдившую после изгнания декабристов. За полтора года перед тем Вяземский сказал тому же приятелю: «Неужели можно честному русскому быть русским в России?»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «Остаф. архив», т. III, стр. 188—189.

<sup>2</sup> Там же, стр. 181

В 1832 году Вяземский охотно начал хлопоты за бывшего члена Союза Благоденствия, Ив. Н. Горсткина, которому велено было в 1827 году безвыездно жить в Пензенской губернии, но должен был оставить хлопоты, опасаясь, что «ходатайством за Горсткина при Бенкендорфе только испортит» дело, так как на Москву, в связи с закрытием «Европейца» и отставкой цензора С. Т. Аксакова, «пало подозрение», и «просить в Москву место опальному было бы подкладывать щепки, а в печи и так трещит»<sup>1</sup>.

В 11-й записной книжке, начатой в 1838 году, встречается такая заметка:

«Bressan (актер Петербургского французского театра) хотел дать для своего бенфиса Marion de Logne<sup>2</sup>, уже пропущенную с некоторыми обрезками театральной цензурой и гр. Орловым. Волконский<sup>3</sup> потребовал пьесу и показал ее государю. Она подана ему была 14 декабря. Он попал на место, где говорится о виселицах, бросил книжку на полу и запретил представление»<sup>4</sup>.

Можно сделать — едва ли ошибочный — психологический домысл, почему Вяземский внес этот случай в записную книжку: поэту хотелось поверить, что и Скалозуб на престоле не избавится от внутреннего укора совести за казнь 13 июля. Пьеса Гюго сыграла здесь роль «Ивиковых журавлей».

Глубоким стариком, читая Пушкина в новом издании, Вяземский против известной отметки поэта: «Услышал о смерти Рылеева, Пестеля, Муравьева, Каховского, Бестужева. 24 июля» (1826 г.) — поставил на полях отметку, выражающую сомнение в принадлежности Пушкину этой записи: «Пушкин вероятно записал бы о казни, а не просто о смерти»<sup>5</sup>.

Вяземский усомнился в заметке только потому, что не мог допустить и мысли, что Пушкин, услышав о расправе 13 июля, мог назвать это просто «смертью», не употребив слова, выражающего всю безнаказанность и позорность этой смертной расправы, — слова казни.

Это характерно для Вяземского. Он был декабристом без декабря, но Николай I своим июлем с виселицами заставил его думать, что декабристы имели право на свой декабрь.

В июле 1826 года Вяземский был близок не только к декабристам, но и к декабрю. Это сделала казнь пятерых и каторга и солдатчина остальных.

<sup>1</sup> Письмо А. И. Тургеневу от 7 марта 1832 г. «Архив бр. Тургеневых», вып. 6, стр. 97.

<sup>2</sup> Драма В. Гюго.

<sup>3</sup> Министр императорского двора.

<sup>4</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 209.

<sup>5</sup> Разрядка самого Вяземского. «Старина и Новизна», вып. VIII, М., 1904, стр. 39.

После июля 1826 года жизненная тропа самого Вяземского достигает перевала в апреле 1830 года. До этой даты продолжается и даже усиливается «опальное поприще» Вяземского. Оно еще до декабря 1825 года начинало уже казаться друзьям Вяземского слишком затянувшимся, и они озабочивались тем, чтобы опальный князь вновь вступил в государеву службу. 31 июля 1825 года Карамзин, зять Вяземского, писал И. И. Дмитриеву: «Мысли твои о службе для князя Петра Андреевича весьма основательны. Куда ни кинь, так клин. Он умен, любезен, но не знает, что делать в свете, и скучает; горд и нерешителен; а я не имею духа за него решиться»<sup>1</sup>. После 14 декабря опальность Вяземского приобрела в глазах правительства еще более красную окраску. Агентами III Отделения Вяземский неизменно выставался главою либералов в Москве, сосредоточием всего неблагонадежного в ней. «Все запрещенные книги и все вредные, ныне находящиеся в обороте, напечатаны и одобрены в Москве. Даже «Думы» Рылеева и его поэма «Войнаровский», запрещенные в Петербурге, позволены в Москве. Все запрещенное здесь печатается без малейшего затруднения в Москве», — жаловался доноситель Бенкендорфу в 1827 году. Причина этого — Вяземский: «По связи кн. Вяземского они [московские цензоры] почти безусловно ему повинуются. Сей Вяземский есть меценатом Полевого и надоумил его издавать политическую газету». Либеральная партия в Москве сильна и «проникнута дурным духом Атаманы — кн. Вяземский и Полевой»<sup>2</sup>.

В следующем году шефу жандармов подан был другой донос с таким же предупреждением: «Все эти издатели... явно проповедуют Либерализм. Партию составляют кн. Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырев, кн. Одоевский, два Киреевские и еще несколько отчаянных юношей»<sup>3</sup>.

Примечательно, что в списке «отчаянных» либералов Вяземский поставлен на первом месте; автору «Вольности» уделено лишь второе. Это не случайно. Тайная полиция склонна была видеть в Вяземском хитрого политического соблазнителя, исподтишка подталкивающего Пушкина на всякое вольнодумство. 14 ноября 1828 года Вяземский с тревогой писал Жуковскому: «Бенкендорф, говоря о Пушкине, сказал, что он, Пушкин, меня

<sup>1</sup> «Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву». СПб., 1866 стр. 401—402.

<sup>2</sup> «Н. А. Полевой, его сторонники и противники». Сообщил Н. Д. «Русск Старина», 1903 г., № 2, стр. 260—262.

<sup>3</sup> Б. Л. Модзалевский. «Пушкин под тайным надзором». Изд. 3-е. Л. 1925.

называет своим Демон<sup>ом</sup> [подчеркнуто Вяземским], что без меня он кроток, а что я его пеню»<sup>1</sup>.

Когда в 1828 году началась война с Турцией, Вяземский получил от П. Д. Киселева предложение занять место, по гражданской части, при главной квартире. Вяземский, ища выхода из своей опалы, принял предложение, но в апреле, через Бенкендорфа, получил от Николая I отказ под тем предлогом, «что отнюдь все места в оной [армии] заняты»<sup>2</sup>. Истинную причину отказа Вяземского, — и такого же отказа Пушкину, — изъяснил цесаревич Константин, когда писал Бенкендорфу: «Поверьте мне, что в своей просьбе они [Вяземский и Пушкин] не имели другой цели, как найти новое поприще для распространения с большим успехом и большим удобством своих безирравственных принципов, которые доставили бы им в скором времени множество последователей среди молодых офицеров»<sup>3</sup>.

«Можно подумать, — отозвался Вяземский на мотивировку отказа Бенкендорфа, — что я просил командование каким-нибудь отрядом, корпусом или по крайней мере дивизией в действующей армии»<sup>4</sup>, а в письме к А. И. Тургеневу, негодуя на Бенкендорфа и его хозяина, утешался не без едкой горечи: «Что ни делайте, не берите меня за Дунай, а в каталогах, а в биографических словарях все-таки имячко мое всплывет, когда имя моего отца и благодетеля Александра Христофоровича [Бенкендорфа] будет забыто, ибо вероятно Россия не воздвигнет никогда Пантеона жандармов»<sup>5</sup>. Но самоутешение было плохое. Над Вяземским явно собиралась политическая гроза.

14 ноября 1828 года он писал А. И. Тургеневу: «Дело в том, что по поводу какого-то журнала, о котором я понятия не имел, сказали государю, что я собираюсь издавать журнал под чужим именем, а он велел мне через кн. Д. В. Голицына объявить, что запрещается мне издавать оную газету, потому что ему известна моя развратная жизнь, недостойная образованного человека, и многие фразы, подобные этой»<sup>6</sup>.

Высочайшее повеление, данное московскому губернатору Голицыну 3 июля, он решился исполнить лишь 26 сентября: настолько резко оно было по существу и по форме. Голицын должен был, ни мало, ни много, «внушить кн. Вяземскому, что правительством оставляется собственное поведение его дотоле, доколе предосудительность оного не послужит к соблазну других

<sup>1</sup> «Русск. Архив», 1900 г., кн. I, стр. 197.

<sup>2</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 96; «Русск. Архив», 1874 г., кн. II, стр. 1093—1094.

<sup>3</sup> Там же, 1884 г., кн. III, стр. 321—322.

<sup>4</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 98.

<sup>5</sup> «Архив братьев Тургеневых», вып. VI, под ред. Н. К. Кульмана, Л., 1921, стр. 70.

<sup>6</sup> «Остат. архив», т. III, стр. 183.

молодых людей и не вовлечет их в пороки; в сем же последнем случае приняты будут необходимые меры строгости к укрощению его безнравственной жизни».

Эта была настоящая угроза, это был последний грубейший окрик Скалозуба перед прямой расправой.

Как было отвечать на нее Вяземскому, который почувствовал себя в этом деле «как будто вне закона, отлученным от закона, hors be loi»<sup>1</sup>.

Первое решение его было то, о котором он писал А. И. Тургеневу: «Я прошу следствия и суда. Не знаю, чем кончится, но если не дадут мне полного и блестящего удовлетворения, то я покину Россию»<sup>2</sup>.

Разумеется, Вяземский ничего этого не получил от правительства Николая I. Тогда, почувствовав, что его опальное поприще вот-вот готово смениться поприщем, которое ему пришлось бы проходить уже не близ Москвы, в собственном Остафьеве, а где-нибудь в местах менее удобных и подальше от столицы, Вяземский решил обратиться непосредственно к Николаю I<sup>3</sup>. Он, как мы знаем, написал свою «Исповедь» и 9 февраля 1829 года послал ее через Жуковского Бенкендорфу, с прямою целью сделать известной императору. Вместе с тем он счел нужным, через того же своего «адвоката и отца духовного»<sup>4</sup>, и прямо обратиться к царю с письмом, прибегая «к правосудию и бесстрастному могуществу своего государя»<sup>5</sup>.

То и другое долго не оказывало никакого действия. 14 марта 1830 года Пушкин сообщал Вяземскому: «Он [Бенкендорф] сказал ей [кн. В. Вяземской, супруге поэта], что недоволен твоим мемориумом»<sup>6</sup>. «Исповедь» не имела успеха у шефа жандармов: написанная так, как она написана, — вполне правдиво, с чувством достоинства и без покаянного челобития, — она, конечно, и не могла иметь у него успеха.

Больше успеха имело письмо. Но его успех требовал от Вяземского полного прекращения своей фронды: «неслужилый» дворянин должен был стать «служилым», и служить там, где укажут. Таково было условие снятия десятилетней опалы. Только принятие его снимало с Вяземского обвинение в «политическом свеболии» (его собственное выражение).

<sup>1</sup> «Русск. Архив», 1900 г., кн. I, стр. 201.

<sup>2</sup> «Остаф. архив», т. III, стр. 183. «Я для России уже пропал и мог бы экспатрироваться без большого огорчения». Вяземский замыслил поселиться в Ирландии, на родине своей матери (там же, стр. 181—182).

<sup>3</sup> Во всем этом так много параллелизма с Пушкинской опалой и с его письмами к Александру I и Николаю I.

<sup>4</sup> «Русск. Архив», 1900 г., кн. I, стр. 199 и 201.

<sup>5</sup> Там же, 1890 г., кн. I, стр. 279.

<sup>6</sup> Пушкин. Письма. Под ред. Б. А. Молдашевского, т. II, Л., 1928, стр. 76.

Вяземский увидел себя вынужденным пойти в «служилые люди»: «Чтобы не быть вне закона, т. е. не давать на себя права каждому прохожему кидать в меня на улице камнями, как в бешеную собаку, я даже предал на произвол обязать меня службою, какую хотят»<sup>1</sup>.

21 апреля 1830 года Вяземский писал А. И. Тургеневу:

Ты знаешь, что все это время я был целью доносов, предубеждений и прочего... Я решился написать прямо государю письмо... Государю мое письмо понравилось: он велел мне сказать, что принимает меня в службу обеими руками, и хотел, чтобы я определился по министерству финансов... Приходило так, что непременно должно было мне или в службу, или вон из России»<sup>2</sup>.

Служба выбрана была самим Николаем I: он занялся политическим перевоспитанием Вяземского, занятием, для себя привычным, так как с 1826 года занимался уже перевоспитанием Пушкина: служба в учреждении, ничего общего не имеющем с прежней деятельностью и увлечениями Вяземского, должна была, по мысли самого Николая I, «отрезвить» поэта, от «политических мечтаний»<sup>3</sup>.

Уже в январе 1831 года приятель Вяземского и нечуждый Бенкендорф, московский почтдиректор и специалист по перлюстрации писем, А. Булгаков, писал своему брату, почтдиректору и перлюстратору петербургскому: «Вообще поэт наш сделался спокойнее и осторожнее. Очень радуюсь этому, потому что он прекраснейшей души человек».

5 августа того же года Вяземский был пожалован камергером двора его величества — званием, которого так и не дождался другой перевоспитываемый, Пушкин: пожалование означало снятие опалы. Тот же Булгаков писал брату в ноябре 1832 года: «Очень радуюсь назначению Вяземского. У него прекрасная душа и способности, и когда отстанет от шайки либеральной, которая делается и жалка и смешна даже во Франции, да примется за службу, как должно, то верно пойдет в гору, будет полезен и себе и семейству своему»<sup>4</sup>.

Перлюстратор оказался пророком. Вяземский, действительно, пошел в гору — правда, не в такую уж высокую гору и не очень уж быстрыми шагами: в половине 50-х годов он назначен был товарищем министра народного просвещения. Он умер в 1878 году, в глубокой старости, давно покинув службу и Россию, сохраняя до конца ясность ума и независимость суждений

<sup>1</sup> «Архив бр. Тургеневых», вып. 6, сто. 74.

<sup>2</sup> «Остаф. архив», т. III, стр. 191—192.

<sup>3</sup> «Русск. Архив», 1906 г., кн. III, стр. 134. Сам Вяземский «просился к Дашкову... по министерству юстиции. Дашков также просил меня сначала к государю, но без успеха» («Остаф архив», т. III, стр. 191).

<sup>4</sup> «Русск. Архив», 1902 г., кн. I, стр. 48, и кн. II, стр. 320.

Однако и переход в 1830—31 году на новое служебное поприще не означал перемену отношения Вяземского к Николаю I. Мундир министерства финансов, который он надел, был скроен из сукна защитного цвета: под ним чувствовал себя спокойнее тот, кто был, по мнению Николая I, неуличенным декабристом. Вряд ли кто-либо из русских писателей 30-х годов с большею резкостью судил и осуждал Николая I и его правительство, чем делал это Вяземский, когда писал в записной книжке:

«Одна моя надежда, одно мое утешение — в уверении, что они увидят на том свете, как они в здешнем были глупы, бестолковы, вредны, как они не возбуждают никакого благородного сочувствия в народе, который с твердостью, с самоотверженностью сносит их, как временное зло. Надеяться, что они когда-нибудь образумятся и здесь, безрассудно, да и не должно. Одна гроза могла бы их образумить. И в политическом отношении должно верить бессмертию души и второму пришествию для суда живых и мертвых. Иначе политическое отчаяние овладело бы душой»<sup>1</sup>.

Вряд ли можно было резче и брезгливее отмежевываться от Николая I и его двора, чем делал это Вяземский, камергер этого двора, давая в начале 30-х годов Пушкину, только что получившему туда доступ, такой совет:

«Провидение зажгло в тебе огонь дарования в честь народу, а не на потеху Двора. Как ни будь поверхностно и малозначительно обхождение супруга с девками, но брачный союз все от того терпит, и, рано или поздно, распутство дома отзовется. Брачный союз наш с народом: домашнее бытие наше в отечестве. Царская ласка — курва соблазнительная, которая вводит в грех и от обязанности законной отвлекает. Говорю тебе искренне и от души»<sup>2</sup>.

Едва ли можно было острее и мрачнее выразить общее впечатление от Николаевской России, чем это сделал в 1828 году Вяземский: «В России — один Петербург, где можно найти все удобства жизни; но как там жить, не продав души, подобно Громобойу? Надобно непременно приписать душу свою в крепость, а не то — в крепость»<sup>3</sup>.

Политические инвективы Вяземского не слабеют — они только хоронятся в «записных книжках» и в письмах к друзьям, посылаемых без помощи господ почтдиректоров. Отношение к Николаю I остается неизменно отрицательным. Как было указано, лишь в эпоху крымской войны оно изменилось у Вяземского по мотивам национально-государственным, поскольку в лице Николая I видел он международного представителя России, попавшей в беду.

Неизменным, по существу, осталось и отношение Вяземского к декабристам. Ему несколько раз случалось в течение десяти-

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 206.

<sup>2</sup> М. Л. Гофман. «Пушкинский музей А. Ф. Онегина в Париже». Париж, 1926, стр. 47.

<sup>3</sup> «Остаф. архив», т. III, стр. 180. «Громобой» — «арзамасское» прозвище С. П. Жихарева.

летий между 1826 и 1878 годами высказываться о них, и всегда эти высказывания оставались одного тона и содержания, хотя и различались по форме. Он ни разу не повторил уже того яркого оправдания декабра, того прямого признания за декабристами исторического права и даже долга на восстание 14 декабря, которое сделал он 22 июля 1826 года. Это признание было исторгнуто тогда глубоким негодованием против смертной расправы Николая I, выкрикнуто в пылу горячего спора с Карамзиным. Оно было честным откликом и властным впечатлением, а не прямой мыслью и постоянным убеждением аристократа-вотчинника и монархиста-конституционалиста. Подлинное отношение и суждение Вяземского оставалось неизменно всюду: в интимной ли записи сна в дневнике в 1829 году, в открытом ли письме к министру народного просвещения в 1836 году, или в заметке 1875 года, когда и из декабристов, давным-давно «прощенных», лишь горсточка оставалась в живых; и сам Вяземский доживал за границей последние годы. Это отношение можно выразить так: Вяземский нигде не оспаривает конституционных (отнодь не республиканских) и освободительных идей декабристов, нигде не примиряется с бюрократически-абсолютистским строем Николаевской России, но признает декабрьское восстание ненужным (и потому вредным для политического развития страны) предприятием небольшого военно-дворянского круга, которому не дано было решать тех задач, за которые он взялся, и теми средствами, к которым он прибег.

В суждении об идеях среднего, так сказать, декабризма Вяземский оставался всегда «либералистом» «дней Александровых прекрасного начала»; в суждении о деле декабристов он был всегда скептик и политический невер; в отношении к людям декабря — он всегда был их другом, что означало уже недружелюбие к их судьям и палачам.

18 мая 1829 года он записывает в Мещерском, для себя: «Третьего дня имел я во сне разговор с каким-то иностранцем о России. Между прочим говорили мы с ним о 14 декабря. Он удивлялся, что мятежники полагали возмутить народ именем цесаревича. Я отвечал ему: «Nous ne pouvons pas avoir la révolution pour une idée; nous ne pouvons en avoir que un nom». Я готов подтвердить наяву сказанное во сне: история тому свидетельница»<sup>1</sup>.

Истинные революции в России — это те народные движения, которые поднимаются за чье-нибудь имя: Дмитрия — в семнадцатом столетии, Петра III — в восемнадцатом, а на деле выражают подлинные социальные нужды борющихся клас-

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 96. — «У нас не может быть революции за идею; у нас может быть революция только за имя». Примечательно, что

сов. И даже «прапорщики» 14 декабря принуждены были уцепиться тоже за имя — мнимо-отстраненного Константина, — чтобы хоть как-нибудь вовлечь в свое дело широкие массы.

Что-то в роде революции, в смысле широкого народного волнения и движения, Вяземский скорее готов был видеть в холерных смутах и бунтах 1830 года, чем в 14 декабря. В октябре холерного года, сидя в домашнем карантине своего Остафьева, он записал для себя:

«Любопытно изучать наш народ в таких кризисах. Недоверчивость к правительству, недоверчивость совершенной неволи к воле всемогущей оканчивается здесь решительно. Даже и наказание божие (т. е. эпидемию холеры) почитают они наказаниями власти... Изъ всего, изъ всех слухов, доходящих до черни, видно, что и в холере находит она более недуг политический, чем естественный, и называет эту галину революцией»<sup>1</sup>.

В этих смутах и волнениях Вяземский видит подтверждение своих суждений о 14 декабря. «Народ» — крестьянство и городская беднота — не считает декабристов своими; напротив, «народ» враждебен к ним, — им готов приписывать он холерные беды: «Говорят [в народе], что на заставах поймали переодетых, с подвязанными бородами, выбежавших из Сибири несчастных 14-го», — записывает Вяземский широкий подмосковный слух, и тут же воспроизводит другой слух, подтверждающий, что в России «бунтуют» непременно «за имя», — слух, что убили в Москве великого князя, «который в Петербурге».

Вяземский, как видно из предыдущего, не раз противопоставлял декабрьский «частный бунт прапорщиков» настоящим революциям, творимым широкими массами, борющимися классами. Но было бы грубой ошибкой думать, что он предпочитал «специалистов» революции ее «дилетантам», которыми считал декабристов. Как раз наоборот: революции настоящей он желал еще меньше, чем «частного бунта». Можно даже думать, что его усмешливость по отношению к декабрьскому восстанию вызывалась именно тем, что он считал заговорщиков людьми, взявшимися не за свое дело: дело масс — создавать революций, дело правящих классов и, прежде всего, дело дворянства и тем более аристократии — предупредить революцию реформами, удерживающими массы в состоянии устойчивого равновесия. По Вяземскому, декабризм, пока он оставался в рамках, примерно, программы и деятельности Союза Благоденствия, как раз именно и делал такое дело — дело установления в стране конституционного строя путем легального воздействия на власть. Когда же декабризм вышел на дорогу революции (которой, по существу, и сделать не мог, а произвел лишь

и М. С. Лунин, во многом единомысленный с Вяземским, корид участников 14 декабря за «вымыслы для возбуждения солдат» («Сочинения и письма», стр. 74).

<sup>1</sup> Полн. собр. соч., т. IX, стр. 148.

«частный бунт»), он, по Вяземскому, принялся за дело, мастерами которого являются люди других классов, чем тот, к которому принадлежали «прапорщики».

Вся общественная и политическая программа Вяземского, весь его искренний либерализм и последовательный конституционализм преследуют одну цель: предотвращение революции, как выступления широких масс.

Ярче всего, пожалуй, сказывается это на его выступлениях против крепостного права. Поскольку позволяет судить доступный нам материал, Вяземский был помещиком, редким для своего времени. В нем не видно и тени рабовладельческого самооправдания. Он делал попытки реформировать свои отношения с крестьянами; не раз давал «вольные» отдельным крепостным; вынужденный продать одно имение, признавался Тургеневу: «Чувствую всю ненавистность необходимости продавать деревни»<sup>1</sup>, и сделал много усилий, чтобы продать этих крестьян в казну, что должно было улучшить их положение; он умел, наконец, называть вещи своими именами, когда, — доказывая Тургеневу, что мелкое землевладение будет менее цепко держаться за крепостное право, чем крупное, — писал:

«Мелкопоместному не трудно будет искать в другом промысле двух или трех тысяч рублей, которые он в поте лица вытягивает из крови своих рабов; но нашему брату не легко будет вызывать из земли сто тысяч рублей, которые теперь, лежа на боку, выкачиваем, как насосами, из своих... Мы, полнокровные Магницкие, мы промышляем кровью, живем, строимся на крови, как он на набожности, которая у него безбожнее нашего бесчеловечия»<sup>2</sup>.

Но, строя планы уничтожения крепостного права, Вяземский всегда видел в нем род страхования владельческого класса от крестьянской революции. По глухому упоминанию в письме к А. И. Тургеневу можно заключить, что Вяземский на деле знал, что такое крестьянские волнения, когда писал: «Беспокойствия в деревне утихли, и до насильственных мер укрощения не доходило»<sup>3</sup>. Эти «беспокойствия» могли, в конце концов, привести когда-нибудь к крестьянскому восстанию — и его надо предупредить дворянским освобождением крестьян. Призывая братьев Тургеневых к основанию общества, изыскивающего пути к уничтожению крепостничества, Вяземский писал им:

«Мы призваны, по крайней мере, слегка перебрать стихии, в коих таится наше будущее. Такое приготовление умерит стремительность и свирепость их опрокидания. Правительство не дает ни привета, ни ответа; народ навсегда, как не взбесится, дремлет. Кому же, как не нам, которым дано прозрение неминуемого и средства, действовать в смысле этого грядущего и тем самым угодить ему дорогу и устранить препятствия и для ездовых, и для мимоходов?..»

<sup>1</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 362. Письмо от 20 октября 1823 г.

<sup>2</sup> Там же, стр. 228. Письмо от 22 ноября 1821 г.

<sup>3</sup> Там же, стр. 263.

Классовые интересы дворянства требуют крестьянской реформы, как предотвратительницы революции, — и эти интересы дворянства могут не совпадать с интересами правительства, у которого могут оказаться совсем иные взаимоотношения с крестьянством.

Вяземский бьет настоящую классовую тревогу, когда пишет:

«Правительство наше играет всегда в молчанку и собирает только фанты; но, будь оно и живее, не его дело решить этот запрос; пожалуй, разреши оно узы рабства в своих поместьях, то и тогда еще оно нам не указ; иные его отношения, иные наши, политическое бытие его не основано на крестьянстве, дворянское до сей поры им только и держится. Хотите ли ждать, чтобы бородачи топором разрубил этот узел? И на нашем веку, может быть, праздник этот сбудется. Рабство—одна революционная стихия, которую имеем в России. Уничтожив его, уничтожим всякие предбудущие замыслы. Кому же, как не нам, приступить к этому делу? Корысть наличная, обеспечение настоящего, польза будущего — все от этой меры зависит»<sup>1</sup>.

Нельзя определеннее, ярче и последовательнее выразить чисто-классовую владельческую точку зрения на освобождение крестьян, чем сделал здесь Вяземский. Ее разделяли широкие круги декабристов. Недаром главный специалист среди них по крестьянскому вопросу, Н. И. Тургенев, коротко и просто ответил Вяземскому: «Мысли ваши об освобождении крестьян совершенно согласны с мнением тех людей, которые здесь имеют какое-нибудь мнение о сем важном предмете»<sup>2</sup>. Что Вяземский действительно выражал здесь мнение большинства декабристов, явствует и из позднего, совершенно независимого, отклика М. С. Лунина:

«Ни помещики, ни правительство, — писал он в 1840 году, — хотя тайное общество и обратило их внимание на вопиющую несправедливость рабства и на неминуемую опасность, проистекающую из всякой несправедливости. — ничего не сделали для облегчения судьбы крестьян и предотвращения грозы, собирающейся над их головами. Когда разразится беда, у них не окажется никаких средств, кроме военной силы... Следовательно, необходимо правительству подумать о мерах уравнивания своих подданных перед законом, а помещикам, в свою очередь, помочь этому акту справедливости последовательными уступками, дабы предотвратить волнение масс, редко полезное для них самих и всегда роковое для тех, кем оно вызвано»<sup>3</sup>.

«Предотвращение грозы» — такова же задача и парламентаризма — одинаково и по Лунину, и по Вяземскому.

«Союз стремился водворить в отечестве владычество законов, дабы навсегда отстранить необходимость прибегать к средству, противному и справедливости и разуму», т. е. к революции, — говорит Лунин о Союзе Благоденствия, отстраняя от него правительственные обвинения в революционности<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Там же, стр. 15—16

<sup>2</sup> Там же, стр. 21.

<sup>3</sup> «Декабрист М. С. Лунин. Общественное движение в России. Письма из Сибири». Ред. и прим. С. Я. Штрайха. Л., 1926, стр. 25.

<sup>4</sup> «Разбор Донесения». «Сочинения и письма», стр. 71.

Вяземский повторяет на все лады эту же мысль, как только начинает говорить о парламентаризме, конституции, либеральных «свободах».

«Везде пробивается зелень конституционного порядка,— радуется Вяземский в 1821 году.— Она выживет гниль самовластия и в самой закоснелой пошве [читай: в России. «Меня более другого должно читать междустрочно»,— советовал сам Вяземский]. Это — эпоха человечества, подобная той, которая возникла от новой прекрасной религии за 1800 лет»<sup>1</sup>.

Самое сравнение характерно для Вяземского и других декабристов без декабря, без революции: наступление мирной конституционной эры он сравнивает с началом христианства,—с началом мирного, в представлении Вяземского, культурного и просветительного процесса в истории. Всякое революционное движение так же враждебно Вяземскому, как и произвол и насилие «самовластия». При вести об убийстве Коцебу студентом Зандом Вяземский воскликнул: «Эти головорезы окровавят дело свободы, как французские тигры окровавили дело свободы», — под «тиграми» разумел он таких деятелей Великой революции, как Марат<sup>2</sup>. По поводу убийства герцога Беррийского Луведем, — на которое так ярко отозвались незаглохшие революционные силы Европы, — Вяземский писал А. Я. Булгакову:

«Смерть Берри — преступление ужасное, и последствия его еще ужаснее будут. Мы видим уже, какие принимает меры притеснительное правительство опуганное... Жаль! Я Франции вверил было все свои надежды: в ней, думал я, устроится здание свободы мудрой, и другим народам придется только учиться у нее.. Неужели все это разрушится от шила сумасбродного каретника»<sup>3</sup>.

Революционер Лувель, с точки зрения Вяземского, безумец, так как его действие, усиливая правительственные репрессии, только отдалает наступление «свободы мудрой», т. е. стройного либерального конституционализма. Но, с другой стороны, безумны и правительства, не прибегающие к «свободе мудрой», как к единственному средству предупредить, отстранить революцию «Что из всего этого будет? — пишет Вяземский тому же корреспонденту. — Пиво крепко бродит: насилием не поможешь, а правители только и умеют, что силой брать. Ого и легче: не искусный лекарь, чем рану лечить, отрезывает ногу»<sup>3</sup>. Предвидя, что революционное пиво забродит и в России, и не видя никаких усилий к предотвращению этого брожения мерами «свободы мудрой», Вяземский с отчаянием восклицает: «Кто в России работает на завтрашний день? Все стряпанье этих государственных людей

<sup>1</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 163.

<sup>2</sup> Письмо А. И. Тургеневу от 24 марта 1819 г. «Остаф. архив», т. I, стр. 205.

<sup>3</sup> Письма от 24 февраля и 7 марта 1820 г. «Русск Архив», 1879 г. кн. I, стр. 518—519.

напоминает мне последнюю страницу годового месящеслова: нет ничего общего с последующим. Поставлена точка, «конец», а за этой точкой, за этим «концом», начинается другое круговращение, солнца, другой порядок, другая жизнь вселенная!»<sup>1</sup>.

Все эти убеждения, много раз, по разным поводам высказанные Вяземским, показывают с несомненностью, что декабризм — как планомерное мирное внедрение в жизнь и общественность начал парламентаризма и либерализма — был для него явлением исторически-закономерным и положительным, как при красный громоотвод революции, — и, наоборот, «14 декабря» было явлением отрицательным; хоть и «частный бунт прасерциков», это все-таки была революция, то самое «брожение пива», которого «мудрая свобода» не должна допускать. Так впоследствии возражал и Лунин против польской революции 1830 года, ставя англичан в пример полякам: даже и при попрании их свободы «англичане не прибегали к оружию», находя «закономерные способы протестовать против незаконности этих актов, одновременно покоряясь им», и «такого поведения пассивного, но обещающего успех, было бы достаточно для того, чтобы засвидетельствовать существование прав, заставить их уважать впоследствии, оказав им двойную поддержку принципа и прецедента»<sup>2</sup>. В согласии с этим, Лунин отмечал в записной книжке 1836 года: «14 декабря — только досадное столкновение»<sup>3</sup>. Это стоит «частного бунта» Вяземского.

«Сохрани меня, боже, зажигать море, — отвечает Вяземский на упрек приятеля в слишком вольном содержании и тоне писем. — но изобрази, боже, и не делай шума Этот шум — не набат, а будильник Я хочу, чтобы очи [Александр I и правительство] знали, что есть мнение в России, от коего не ускочишь на почтовых лошадей, как не рассыпайся мелким бесом по блочному свету Это мнение нерушимое: первый желаю и молю, чтобы все сделалось у нас именно волею, и чтобы, по словам Милорадовича, он [Александр I] «изволил соизволить» — но соизволь же!»<sup>4</sup>.

Лунин в Сибири превосходно перевел эту отповедь Вяземского на язык политически точный и юридически-ясный:

«Теперь меня прозывают в официальных бумагах: государственный преступник, находящийся на поселении. Целая фраза при моем имени. В Англии сказали бы: Лунин — член оппозиции. Ведь таково, в сущности, мое политическое значение Я не участвовал в мятежах, свойственных толпе, ни в заговорах, приличных рабам Мое единственное оружие — мысль, то согласная, то в разладе с правительственным ходом, смотря по тому, как находит она созвучие, ей отвечающее»<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> «Остаф. архив», т. II, стр. 59.

<sup>2</sup> М. С. Лунин «Взгляд на дела Польши». Сб. «Декабристы на каторге и в ссылке». М., 1925 стр. 273.

<sup>3</sup> М. С. Лунин. «Сочинения и письма», стр. 12.

<sup>4</sup> Письмо А. И. Тургеневу от 21 января 1821 г. «Остаф. архив», т. II, стр. 134.

<sup>5</sup> Письмо (1838 г.) к сестре. «Сочинения и письма», стр. 40.

Вяземский, как Лунин, как Н. И. Тургенев, как многие из «либералистов» первой четверти XIX века, был бы «члском оппозиции» его величества, живи он в Англии, — но и в России только им и хотел он быть всегда. Те же, кто вышел 14 декабря на Сенатскую площадь, были «оппозицией его величеству» — у которой другие — противоположные — цели и средства.

В глубокой старости, встретившись вновь с декабристами, уже возвращенными из Сибири, Вяземский еще раз высказался о них, и суждение его не отличалось ни в чем существенном от приведенных выше записей и рассуждений:

«Самая затея совершить государственный переворот на тех началах и при тех способах и средствах, которые были в виду, уже победоносно доказывает политическую несостоятельность и умственное легкомыслие этих мнимых и самозванных преобразователей. Были между ними благородные, скажу, чистые личности, у которых ум зашел за разум, которые много зачитались и мало надумались. Их соблазняла слава гражданского подвига... Это были утописты, романтики в политике. Много я знал таких. Прочие, большинство, были дилетанты, любители политический зрелищ и действий. Многие из них вступали в тайное общество, как приписывались к масонам, даже членам Английского клуба: с тем, чтобы в собственных глазах быть или казаться чем-нибудь»<sup>1</sup>.

Отзыв этот, последний у Вяземского, хорошо резюмирует отношение его к декабристам: они сами — «благородные, чистые личности», но «романтики в политике», а дело их в истории и для России — это дилетантский переворот без участия единственных не дилетантов революции — народных масс, — революционное мастерство которых, впрочем, еще неприязнее для Вяземского, чем революционный дилетантизм утопистов.

Отзыв писан старческой рукой: ворчливая старость подсушила его, подчеркнула в нем «дилетанство» и оставила без подчеркивания «политический подвиг». Рука молодого Вяземского делала наоборот; но по существу отзыв остался неизменен в течение полувека.

Вяземский имел право гордо заявлять Николаю I: «Если я был бы хотя и сокрытым действующим лицом в бедственном предприятии, то верно был бы налицо в сотворенном несчастии». Но не совсем был не в праве и Николай I чутя, что Вяземский был не с ним, а с декабристами: он только не знал, что «декабризм» Вяземского никогда не имел бы своего «декабря», так как поместный аристократизм и монархический конституционализм Вяземского социально и политически по-прежнему определяли ему быть декабристом без декабря, видевшим в либеральных учреждениях и парламентаризме единственный способ страхования жизни своего класса — поместной аристократии — от пожара революции.

Николай Кутанов.

<sup>1</sup> «По поводу бумаг Жуковского». «Рус. арх.», 1876 г., кн II, стр. 260.

**ВСЕСОЮЗНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПОЛИТИЧЕСКИХ КАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ**

# ДЕКАБРИСТЫ И ИХ ВРЕМЯ

ТРУДЫ МОСКОВСКОЙ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ  
СЕКЦИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДЕКАБРИСТОВ  
И ИХ ВРЕМЕНИ

ТОМ II

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВСЕСОЮЗНОГО ОБЩЕСТВА  
ПОЛИТКАТОРЖАН И ССЫЛЬНО-ПОСЕЛЕНЦЕВ  
МОСКВА 1932